

## Annotation

События романа Грина, любовной истории «Конец одного романа» (1951), происходят в Лондоне во время германских бомбежек во Вторую мировую войну.

---

---

- [Грин Грэм](#)
    - 
    - [Книга первая](#)
    - [Книга вторая](#)
    - [Книга третья](#)
    - [Книга четвертая](#)
    - [Книга пятая](#)
- 
-

**Грин Грэм**

**Конец одного романа**

*В сердце человеческом есть места, которых еще нет, и страдание  
входит в них, чтобы они обрели жизнь.*

*Леон Блуа*

У повести нет ни начала, ни конца, и мы произвольно выбираем миг, из которого смотрим вперед или назад. Я говорю «мы» с не должной гордостью писателя, которого (если замечали) хвалили за мастерство; а выбрал я, своей волей выбрал темный январский вечер 1946 года, Коммон, Генри Майлза в потоках дождя – или образы эти меня выбрали? По законам моего ремесла прилично, правильно начать отсюда, но если бы я верил хоть в какого-то бога, я бы поверил и в руку, которая тронула меня за локоть, и в голос, сказавший: «Заговори с ним, он тебя не видит».

И впрямь, почему я с ним заговорил? Если «ненависть» – не слишком сильное слово для нас, людей, я ненавидел и его, и жену его Сару. Наверное, после этого вечера он возненавидел меня, как ненавидел иногда жену и того, другого, в которого мы, на наше счастье, не верили. Так что это рассказ скорее о ненависти, чем о любви, и если я похвалю Генри или Сару, можете мне верить – я пишу наперекор себе, ибо горжусь как писатель, что предпочитаю посильную правду даже своей непосильной ненависти.

Я удивился, зачем Генри вышел в такую погоду, – он любил удобства, и, в конце концов, у него была Сара (так я думал). Мне удобства и уют неприятны – одинокому легче, когда ему не слишком хорошо. Мне было чересчур уютно даже в моей комнате на плохой, южной стороне, среди чужой, старой мебели; и я прикинул: не прогуляться ли под дождем, не выпить ли? Наш маленький холл был полон чьих-то шляп, пальто, и я по ошибке взял чужой зонтик – к жильцу со второго этажа пришли гости. Потом я закрыл за собой стеклянную дверь и осторожно спустился по лестнице; она пострадала от бомбы в 1944 году, и ее все не чинили. По некоторым причинам я помнил, что в ту бомбежку толстое, безобразное викторианское стекло выдержало удар, как выдержали бы наши деды.

Выйдя, я обнаружил, что зонтик не мой, – он протекал, вода лила на макинтош; и тут я увидел Генри. Мне было так легко пройти мимо – он не захватил зонтика и буквально ослеп от дождя. Черные, голые деревья защитить не могли, они торчали как сломанные трубы, и вода лилась прямо на его темную шляпу, на строгое чиновничье пальто. Если бы я прошел мимо, он бы меня не заметил, и уж точно бы не заметил, отойди я фута на два; но я сказал:

– Генри, вы прямо как чужой! – и увидел в свете фонаря, что глаза его засветились, словно мы давно и близко дружим.

– Бендрикс! – обрадовался он, хотя многие сочли бы, что это он меня должен ненавидеть, не я его.

– Куда это вы в такой дождь? – спросил я. Есть люди, которых так и хочется поддеть – наверное, это те, кто наделен неведомыми нам достоинствами.

– Подышать захотелось... – уклончиво сказал он и едва успел схватить шляпу, которую неожиданный шквал чуть не унес на северную сторону.

– Как Сара? – спросил я.

Он мог бы удивиться, если бы я не спросил, а вот я бы очень обрадовался, если бы она оказалась несчастной, больной, при смерти. Тогда я думал, что от ее страданий мне будет легче, смерть ее меня освободит. Если бы она умерла, думал я, я мог бы даже полюбить бедного, глупого Генри.

Он сказал:

– Она куда-то ушла. – И я снова стал терзаться, вспомнив те дни, когда он отвечал так другим, а я, я один знал, где она.

– Выпить не хотите? – спросил я, и он, к моему удивлению, пошел рядом со мной. Раньше

мы пили только дома, у него.

– Давно я вас не видел, Бендрикс,— сказал он. Почему-то все называли меня по фамилии, словно у меня нет имени, хотя мои изысканные родители дали мне вульгарное имя «Морис».

– Давно.

– Больше года...

– С июня сорок четвертого.

– Так долго?

«Дурак ты дурак,— подумал я, — хоть удивился бы, что я исчез на полтора года!» От северной стороны до южной — меньше пятисот ярдов. Неужели ни разу не спросил: «Сара, как там Бендрикс? Может, позовем его?» — а ответы не показались ему странными, уклончивыми, подозрительными? Я провалился куда-то, словно камень — в воду. Наверное, всплески волны огорчали Сару не больше недели, ну с месяц, но Генри не видел ничего. Я ненавидел его слепоту и раньше, когда ею пользовался,— я знал, что и другие могут воспользоваться ею.

– Пошла в кино? — спросил я.

– Нет-нет, она не ходит.

– Раньше ходила.

«Герб Понтефрактов» был еще разукрашен серпантинном и бумажными бантами, а под оранжево-розовыми остатками продажного веселья молодая хозяйка, навалившись грудью на стойку, презрительно разглядывала посетителей.

– Как мило, — сказал Генри, хотя этого не думал, и робко, растерянно огляделся, где бы повесить шляпу. Мне показалось, что он не бывал в баре, это — не кафе, где он завтракал с коллегами.

– Что будете пить?

– Можно виски...

– Нет, нельзя. Тут только ром.

Мы сели к столику, стали крутить бокалы — я не знал, о чем говорить с ним. Вряд ли я познакомился бы с Генри и с Сарой, если бы не начал в 1939 году роман о крупном чиновнике. Как-то, споря с Уолтером Безан-гом. Генри Джеймс сказал, что настоящей писательнице достаточно пройти мимо казармы, чтобы написать роман о гвардейцах; я же думаю, что рано или поздно ей надо с гвардейцем переспать. Конечно, с Генри я не спал, но сделал, что мог. В первый же вечер, когда я повел Сару в ресторан, я твердо и холодно решил расспросить как следует жену чиновника. Она этого не знала; она думала, что я искренне интересуюсь ее жизнью, и, наверное, из-за этого я ей понравился. Я спрашивал, когда Генри завтракает, как ездит на службу — в метро, в автобусе, в такси? — приносит ли домой работу, есть ли у него портфель с гербом. Так мы подружились — она была рада, что кто-то всерьез о [носит] к Генри. Он человек значительный, как значителен слон,— он крупный чиновник; но есть значительность, к которой очень трудно относиться всерьез. Служил он в министерстве социального обеспечения, которое называли министерством домашнего очага, и позже я смеялся над этим в те минуты, когда по злобе хватаешь любое оружие. Я нарочно сказал Саре, что спрашивал про Генри только для книги, чтобы его описать, а персонаж — нелепый, комический. Тогда и разлюбила она мой роман. Она была на редкость предана мужу, ничего не скажешь, и в темные часы, когда бес овладевал моим разумом, я злился на безобидного Генри, выдумывал сцены, которые стыдно записать. Однажды Сара провела у меня целую ночь (я ждал этого, как ждет писатель последнего слова книги), и моя случайная фраза испортила то, что иногда казалось нам полным счастьем. Часа в два я уснул, проснулся в три и разбудил Сару, положив ей руку на плечо. Наверное, я хотел все уладить, пока моя жертва не повернула ко мне прелестное заспанное лицо. Она глядела доверчиво, она забыла ссору, и даже это разозлило меня. Какие мы,

люди, плохие, а еще говорят, что нас создал Бог! Мне трудно представить Бога, который не прост, как уравнение, не ясен, как воздух. Я сказал ей: «Лежу, думаю о пятой главе. Жует Генри кофе перед важным заседанием?» Она покачала головой и тихо заплакала, а я, конечно, сделал вид, что удивляюсь – что тут такого, я думаю о моем герое, Генри обидеть не хотел, самые симпатичные люди жуют кофейные зерна, и так далее. Она выплакалась и уснула. Ока вообще крепко спала, и даже на это я сердился.

Генри быстро выпил ром, печально глядя на розовые и оранжевые ленты. Я спросил:

– Как провели Рождество? – И он ответил:

– Очень мило, очень мило.

– Дома?

Генри посмотрел на меня, как будто удивился, что я произношу это слово.

– Конечно.

– А Сара в порядке?

– Да.

– Еще рому?

– Теперь я закажу.

Пока он заказывал, я пошел в уборную. Стены были исписаны. Я прочитал: «Чтоб ты лопнул со своей грудастой бабой!», «Доброй вам гонореи, счастливого сифилиса», – и поскорей вернулся к веселому серпантину. Иногда я слишком ясно вижу себя в других, и беспокоюсь, и очень хочу поверить в святость, в высокую добродетель.

Чтобы огорчить Генри, я повторил ему надписи, но он просто сказал:

– Страшная штука ревность.

– Это вы про грудастую бабу?

– Про все. Когда нам плохо, мы завидуем чужому счастью. Я никак не думал, что такому можно научиться в министерстве. Вот и снова я пишу с горечью. Какая скучная, мертвая эта горечь! Если бы я мог, я бы писал с любовью, но если бы я умел писать с любовью, я был бы другим и любви не потерял. Но вдруг над блестящей плиткой столика что-то коснулось меня – не любовь, просто жалость к несчастному; и я сказал Генри:

– Вам плохо?

– Бендрикс, я очень беспокоюсь.

– Расскажите.

Вероятно, он не стал бы говорить, если бы не выпил рому, а может, он все-таки подозревал, что я о нем очень много знаю? Сара не предала бы его, но когда люди так близки, как мы с нею, поневоле что-нибудь да узнаешь. Я знал, что у него родинка слева на животе, потому что мое родимое пятно как-то напомнило об этом Саре; знал, что он близорук, но при посторонних очков не носит (а я был достаточно посторонним); знал, что он пьет чай в десять часов; знал даже, как он спит. Может быть, он понимал это и думал, что лишний факт ничего не изменит?

– Я беспокоюсь о Саре, – сказал он.

Дверь открылась, и я увидел, как льется дождь. Какой-то веселый человечек сунул голову в бар и крикнул:

– Эй, как вы там?!

Но никто ему не ответил.

– Она болеет? – спросил я. – Вы вроде сказали...

– Нет, не болеет. Наверное, нет. – Он с неудовольствием огляделся, он не привык к таким местам. Я заметил, что глаза у него красные. Может быть, ему надо бы чаще носить очки – посторонних всегда много; а может, он плакал.

– Бендрикс, – сказал он, – здесь я говорить не могу, – словно привык говорить со мной хоть

где-то.– Пойдем куда-нибудь.

– Сара еще не вернулась?

– Скорее всего – нет.

Я заплатил и снова подумал, как же он расстроен – он очень не любил одолжений. В такси он раньше всех вынимал деньги. На улице все еще шел дождь, но дом его был близко. Он отпер дверь под оконцем в стиле времен королевы Анны и позвал: «Сара, Сара!» Я ждал и боялся ответа, никто не отозвался, и он сказал:

– Она еще не пришла. Зайдем в кабинет.

Я никогда не был в кабинете. Я был Сариним другом и его видел только у нее, где все так не подходило одно к другому, мебель была самая разная, а не какая-нибудь «старая», вообще казалось, что вещи – сегодняшние, Сара не признавала ни былых вкусов, ни былых чувств. Она держала только то, что ей нужно; а здесь, наверное, никто не трогал ничего. Томики Гиббона навряд ли открывали, томики Скотта, должно быть, принадлежали когда-то отцу, как и бронзовая копия «Дискобола». А все же он был счастливей меня в своей ненужной комнате – в своей. И я подумал с завистью и грустью, что если ты владеешь чем-то, ты можешь этим не пользоваться.

– Виски? – спросил он, а я вспомнил его глаза и подумал: не пьет ли он лишнего? И впрямь, налил он нам щедро.

– О чем вы беспокоитесь, Генри? – Роман о чиновнике я забросил, в материале не нуждался.

О Саре, – сказал он.

Испугался бы я, если бы он так сказал ровно два года назад? Нет, обрадовался бы – очень уж устаешь от обмана. Я был бы рад открытой борьбе хотя бы потому, что он мог оступить, ошибиться, и я бы, как это ни дико, выиграл. Ни раньше, ни позже я не мечтал так о победе. Я даже о хорошей книге так сильно не мечтал.

Он поднял на меня красноватые глаза и признался:

– Мне страшно, Бендрикс.

Теперь я не мог относиться к нему свысока – он поступил в школу страдания, в мою школу, и я впервые подумал о нем как о равном. Помню, на столе у него стояла коричневатая старая фотография, и я удивился, как похож он на своего отца (тот снимался в таком же возрасте, лет за сорок) и как не похож. Дело не в усах – отец был по-викториански спокоен, он был дома в этом мире, он все знал; и снова я ощутил, что мы с Генри – товарищи. Он нравился мне больше, чем понравился бы отец (работавший в казначействе). Мы оба с ним были чужими, изгоями, странниками.

– Что ж вам страшно?

Он сел так резко, словно его толкнули, и с трудом сказал:

– Бендрикс, я всегда думал худшее, нет, самое худшее... В то, бывшее время, наверное, я бы места себе не находил. Как незнакомо и как бесконечно тоскливо спокойствие невинности!

– Вы же знаете, Генри, – сказал я, – мне вы можете довериться. – И подумал: вполне возможно, что у нее осталось письмо, хотя я мало ей писал. Это наш профессиональный риск. Женщины могут преувеличивать значимость своего возлюбленного и уж никак не предвидят того унижительного дня, когда нескромное письмо появится в каталоге автографов ценою в пять шиллингов.

– Посмотрите, – сказал Генри. Он протянул мне письмо, не мое.

– Читайте, читайте, – сказал он.

Какой-то его друг писал: «Человек, которому вы хотите помочь, должен обратиться к Сэвиджу на Виго-стрит, 159. Он хорошо работает, хранит тайну, а сыщики у него не такие

мерзкие, как обычно».

– Не понимаю.

– Я ему написал, что один мой знакомый спрашивает о частном сыске. Как это страшно, Бендрикс! Наверное, он все понял.

– Вы думаете...

– Я еще ничего не делал, но вот письмо, лежит, напоминает. Глупо, правда? Я совершенно уверен, что она его не прочтет, хотя заходит сюда раз десять в день. Я даже не убрал его в ящик. И все-таки – не доверяю. Сейчас она пошла гулять. Гулять, Бендриккс.

Дождь добрался и до него – теперь он сушил рукав у газовой горелки.

– Как неприятно...

– Вы всегда дружили с ней, Бендрикс. Часто говорят, что муж хуже всех знает свою жену. Когда я вас сегодня увидел, я подумал: если я расскажу вам и вы засмеетесь, я сожгу письмо.

Он сидел у камина, вытянув мокрую руку, и не смотрел на меня. Меньше всего на свете мне хотелось смеяться, но я бы засмеялся, если бы мог.

– Что же тут смешного? – сказал я. – Хотя и подумать странно...

– Да, очень странно, – сказал он. – Наверное, вы считаете, что я дурак?

Только что я был бы рад засмеяться, а сейчас, хотя мне нужно было только солгать, вернулась былая ревность. Неужели муж с женой так едины, что приходится ненавидеть и мужа? Вопрос этот снова напомнил о том, как легко обманывать Генри. Иногда мне казалось, что он просто вводит Сару в соблазн (ведь если оставишь деньги в номере, соблазниешь вора), и я ненавидел его за то, что когда-то мне помогало.

От рукава поднимался пар. Не глядя на меня, Генри повторил:

– Да, считаете, что я дурак. Тут вмешался бес.

– Нет, – сказал я, – не считаю.

– Значит, по-вашему, это... мыслимо?

– Конечно. Сара – человек, не ангел. Он рассердился.

– А я думал, вы ей друг, – сказал он, словно это я написал письмо.

– Конечно, – сказал я, – вы знаете ее гораздо лучше, чем я.

– В каком-то смысле да, – мрачно ответил он, и я понял, что он думает, в каком смысле я знал ее лучше.

– Вы спросили, Генри, не считаю ли я вас дураком, а я сказал, что в самой мысли нет ничего глупого. Я ничем не обидел Сару.

– Да, Бендрикс, я знаю. Я очень плохо сплю. Проснусь и думаю, что делать с этим письмом.

– Сожгите его.

– Если б я мог!

Он еще держал письмо, и я решил было, что он собирается его сжечь.

– Или пойдите к Сэвиджу, – сказал я.

– Он не поверит, что это не для меня. Представьте, Бендриккс, – сидеть в кресле, где сидело столько ревнивых мужей, рассказывать то же самое, что они... Интересно, есть там приемная, чтобы мы не видели друг друга?

«Странно, – подумал я, – он не лишен воображения!» Чувство превосходства пошатнулось, мне снова захотелось поддеть его, и я сказал:

– Может, мне пойти?

– Вам?

Я подумал, не далеко ли я зашел, не заподозрит ли что-нибудь даже Генри.

– Да, – сказал я, играя с опасностью. Что такого, если он узнает немного о прошлом? Ему же лучше, научится смотреть за женой. – Я притворюсь ревнивым любовником, – сказал я. – Они

не так смешны, как мужья. Литература их поддерживает. Они – герои трагедии, а не комедии. Например, Троил. Мое самолюбие в безопасности. Рукав просох, но Генри не убрал руку, и ткань уже тлела.

– Вы правда готовы на это для меня? – сказал он, и я увидел слезы, словно он не ждал или не заслужил такого благородства.

– Конечно, Генри. У вас рукав горит.

Он посмотрел на рукав, будто тот горел не у него.

– Поразительно, – сказал он. – Нет, о чем я только думал! Рассказать вам и просить... об этом. Нельзя шпионить за женой через друга, да еще чтобы друг притворился ее любовником.

– Да, это не принято, – сказал я. – И соблазнять не принято, и красть, и дезертировать, но это ведь все время делают. Без этого нет нынешней жизни. Кое-что я делал и сам.

– Вы хороший человек, – сказал Генри. – Мне нужно было выговориться, и все.

Сейчас он действительно поднес письмо к огню. Когда он ссыпал пепел в пепельницу, я сказал:

– Сэвидж, Виго-стрит, сто пятьдесят девять или сто шестьдесят девять.

– Забудьте, – сказал Генри. – Забудьте, что я говорил. Это все чушь. У меня часто болит голова. Надо сходить к доктору.

– Дверь стукнула, – сказал я. – Это Сара.

– Нет, – сказал он. – Служанка, наверное. Она ходила в кино.

– Шаги Сарины.

Он пошел к двери, открыл ее, и лицо его стало приветливым, нежным. Меня всегда раздражала эта автоматическая реакция, она ничего не значила -нельзя всегда радоваться какой-то женщине, даже если ты влюблен, а Сара говорила (и я ей верил), что они никогда не были влюблены друг в друга. Куда честней, да и пылче, думал я, мое недоверие и моя ненависть. Во всяком случае, для меня она была полноправной личностью, а не частью дома, как статуэтка, с которой надо осторожно обращаться.

– Са-ра! – позвал он. – Са-ра! – фальшиво до невыносимости. Что мне сделать, чтобы незнакомый увидел, как остановилась она в холле, у лестницы, и обернулась к нам? Я всегда считал, что не надо навязывать своих представлений, поставлять готовые иллюстрации. Вот меня и подвело мое мастерство – ведь я не хочу, чтобы вместо Сары видели другую женщину, мне надо, чтобы видели ее большой лоб, смелый рот, ее скулу, но изобразить я могу только неопределенное создание в мокром плаще.

– Да, Генри? – сказала Сара, а потом: – Вы?

Она всегда говорила мне «вы» по телефону – «Это вы?», «Вы можете?», «Вы сделаете?», – а я думал, как дурак, хотя бы несколько минут, что на свете – один только «вы», и это я.

– Очень рад, очень рад, – сказал я, ненавидя ее. – Выходили погулять?

– Да.

– Погода плохая, – назидательно заметил я, а Генри прибавил, явно беспокоясь:

– Ты вся промокла, Сара. Смотри, простудишься насмерть. Привычный оборот, во всей своей мирской мудрости, пронзает порой беседу, как голос рока. Но даже если бы мы знали, что Генри сказал правду, вряд ли кто-нибудь из нас двоих испугался бы – так были мы измучены недоверием и ненавистью.

Не могу сказать, сколько прошло дней. Старые страдания вернулись, а в этой тьме не легче считать дни, чем слепому замечать оттенки света. Через неделю или через три я решил, что делать. Теперь, через три года, я плохо помню, как сторожил со своей стороны сада, глядел на их дом издали, от пруда или из портика церковки, построенной веке в восемнадцатом, надеясь, что откроется дверь и Сара спустится по целым, хорошо вымытым ступенькам. Я ждал – и не



дождался. Дождей больше не было, по ночам подмораживало, но ни Сара, ни Генри не появлялись, словно дом вымер. Я больше не встречал Генри. Наверное, он стыдился того, что сказал мне, он ведь очень почитал условности. Пишу это – и усмехаюсь, а сам, если подумать, только восхищаюсь такими людьми и доверяю им, как восхищаешься деревушками, когда едешь мимо них в машине, столько мира в их черепице и камне, столько покоя.

Помню, в те мрачные дни – или недели – мне часто снилась Сара. Иногда я просыпался страдая, иногда – радуясь. Когда думаешь о женщине весь день, не надо бы видеть ее во сне. Я пытался писать, ничего не получалось. Я выполнял свою норму, пятьсот слов в день, но персонажи никак не оживали. Наше дело очень зависит от того, как мы живем. Можно ходить по магазинам, считать налоги, болтать, а поток подсознания течет, как тек, решая твои проблемы, строя планы. Сядешь к столу пустым-пустой, и вдруг откуда-то берутся слова, выходят из тупика трудные сцены, работа сделана во сне, в магазине, во время беседы. Подозрения, ненависть, страсть к разрушению – глубже книги, и подсознание работало на них, пока однажды я не проснулся, твердо зная, что пойду днем к Сэвиджу.

Быть тем, кому доверяют, – странная профессия. Люди доверяют адвокату, врачу, наверное – священнику, а теперь я прибавил к ним частного сыщика. Генри ошибся, клиенты друг на друга не смотрели. Здесь было две приемных, меня провели в одну из них. Совсем не этого ждал я от такой конторы; затхлый запах в передней напоминал об адвокатах, свежие журналы в приемной – о зубном враче. Там лежали и «Харперс базар», и «Лайф», и французские журналы мод, а человек, проводивший меня, был слишком учтив и слишком элегантен.

Он подвинул кресло к огню, осторожно закрыл дверь, и я почувствовал себя пациентом. Я и был пациентом, больным, который решил излечиться от ревности при помощи этой хваленной шоковой терапии.

Увидев мистера Сэвиджа, я прежде всего заметил галстук, видимо, представлявший какое-то старое товарищество. Потом я подумал, как чисто он выбрит, даже чуть-чуть припудрен; потом обратил внимание на его лоб с залысинами, так и сверкавший сочувствием, пониманием, желанием принести пользу. Когда он здоровался со мной, он как-то странно пожал мне руку. Наверное, он был масон, и если бы я тоже так пожал, он бы обращался со мной иначе.

– Мистер Бендрикс? – сказал он. – Садитесь. Здесь удобней. Он взбил для меня подушку кресла и заботливо стоял возле меня, пока я как следует не уселся. Потом он сел рядом на стул, словно собирался щупать мне пульс.

– Расскажите мне все своими словами, – предложил он. Просто не знаю, чьими еще словами мог я рассказывать. Я растерялся и огорчился – не за сочувствием шел я сюда, я хотел купить действительную помощь. И я спросил:

– Сколько стоит слезка?

Мистер Сэвидж мягко погладил свой полосатый галстук.

– Не беспокойтесь, мистер Бендрикс, – сказал он. – За предварительную беседу мы берем три гиней, но если вы не захотите продолжать, мы не возьмем ничего, буквально ничего. Лучшая реклама – довольный клиент. Избитую фразу он сунул в разговор, как термометр. Наверное, в бытовой ситуации все мы ведем себя похоже, все употребляем одни и те же слова. Я сказал:

– Случай очень простой. – И с раздражением понял, что он знает все, хотя я ничего не говорил. Никакие мои откровения его не удивят, он все открыл и переоткрыл десятки раз даже в этом, нынешнем году. Врач и тот иногда удивляется, но мистер Сэвидж лечил одну болезнь и знал каждый симптом.

– Слушаю вас, мистер Бендрикс, – с невыносимой мягкостью сказал он.

Я смутился, как смущаются все его клиенты.

– Тут не о чем и говорить, – сказал я.

– Это моя работа, – сказал он. – Я должен ощутить настроение, атмосферу. Речь идет о миссис Бендрикс?

– Не совсем.

– Вы не женаты официально?

– Нет, вы не поняли. Она – жена моего друга.

– Он послал вас?

– Нет.

– Может быть, вы... связаны с этой дамой?

– Нет. Я с сорок четвертого года видел ее всего один раз.

– Простите, я не совсем понял. Вы сказали, вам нужна слежка. До этой минуты я не понимал, как он меня раздражает. Я сорвался.

– Что ж, по-вашему, – резко сказал я, – нельзя так долго любить или ненавидеть? Да, я – один из ваших ревнивых клиентов. Такой же самый, как все, только с отсрочкой.

Мистер Сэвидж положил руку на мой рукав, словно успокаивал ребенка.

– Ревности незачем стыдиться, мистер Бендрикс. Ревность – знак истинной любви, я ее уважаю. Так вот, дама, о которой мы говорим... У вас есть основания считать, что она... с кем-то связана?

– Ее муж так думает. Она куда-то ходит. Она ему лжет. У нее... ну, тайны.

– А, да, тайны!

– Конечно, ничего может и не быть.

– Поверьте моему опыту, мистер Бендрикс, в сущности – не может. Словно он подготовил меня и теперь приступает к делу, мистер Сэвидж сел за стол и приготовился писать. Фамилия. Имя. Адрес. Занятие мужа. Подняв карандаш, он осведомился:

– Мистер Майлз знает о нашей встрече?

– Конечно нет.

– Это создает дополнительные сложности.

– Может быть, я позже покажу ему отчеты. Не знаю.

– Расскажите, пожалуйста, о ее доме. Есть у нее служанка?

– Да.

– Возраст?

– Откуда мне знать? Лет тридцать восемь.

– Поклонники у служанки?..

– Не знаю. И фамилии бабушки не знаю. Мистер Сэвидж кротко улыбнулся. Я подумал было, что он выйдет из-за стола и снова меня погладит.

– Вижу, мистер Бендрикс, – сказал он, – вы не привыкли к таким беседам. Служанка очень важна. Она может много рассказать о своей хозяйке... если захочет. Вы не поверите, как много вещей очень нужны для самой простой слежки.

Это он доказал, исписав кучу листов мелкими, неразборчивыми буквами. Вдруг он спросил, прервав допрос:

– Возражаете ли вы, если наш человек зайдет к вам? Я ответил, что мне все равно, но тут же почувствовал себя так, словно бы нарочно чем-то заразился, и сказал:

– Лучше не надо.

– Конечно, – откликнулся он. – Как же, как же, понимаю, – и, думаю, он вправду все понял. Я мог бы сказать, что «его человек» будет как пыль на мебели, как сажа на книгах, – и он бы не обиделся. Я очень люблю писать на чистой, белой бумаге – если на нее капнул чай, вообще если она запачкалась, я ее выбрасываю. И дикая мысль пришла мне: надо будет запереть бумагу в

стол.

– Пусть он хотя бы меня предупредит, – сказал я.

– Как же, как же, но это не всегда возможно. Ваш адрес, телефон?

– Телефон – не мой. Спаренный с хозяйкой.

– Мои люди исключительно осторожны. Отчеты хотите раз в неделю или общий, в самом конце?

– Раз в неделю. Конца может и не быть. Или выяснять нечего.

– Часто вы бывали у врача и ничего не находили? Если человек в нас нуждается, мистер Бендрикс, это значит почти всегда, что материал есть.

Наверное, мне повезло с мистером Сэвиджем. В том письме говорилось, что он – не такой противный, как другие сыщики, но меня просто передернуло от его уверенности. В сущности, занятие это не такое уж приличное, здесь следят за невинными, в чем любовники провинились? Они не совершили преступления, они не знают за собой вины, они всегда готовы повторить: «Кому я врежу, кроме себя?» – а любовь извиняет все, им так кажется, и мне так казалось в те дни, когда я любил.

Дошли до платы, и мистер Сэвидж оказался на удивление скромным: три гинеи в день и расходы, «с вашего разрешения, конечно». Он объяснил:

«Знаете, лишний кофе, а иногда и поставить...» Я пошутил было, что не люблю виски, но он шутки не заметил.

– Был случай, – сообщил он, – когда месячная слезка провалилась бы, если бы наш человек не угостил кого надо. Конечно, виски – самое дешевое.

Еще он прибавил, что некоторые предпочитают ежедневный отчет, но я сказал, что с меня хватит еженедельного.

Словом, все прошло хорошо – когда я вышел на Виго-стрит, я едва ли не верил, что такие беседы рано или поздно бывают у всех.

Помню, мистер Сэвидж сказал: «Если будет что-нибудь важное, не сообщите ли мне?» Сыщик, как писатель, должен собрать свой будничный материал прежде, чем он найдет ключ. Но как трудно выбрать самое важное! Внешний мир давит так, словно тебя пытаются. Теперь, когда я записываю все, что со мною было, и придумывать не должен, проблема – та же самая, только хуже: прибавилось очень много фактов. Сумею ли я вычленив человека из нагромождения деталей – газет, еды, машин в Баттерси, чаек, прилетающих с Темзы в поисках хлеба, раннего лета в парке, где дети пускают лодочки? (Стояло последнее лето перед войной, тогда каждое лето было ясным, погожим, черт их дери.) Интересно, прикидывал я, если долго думать, можно ли догадаться, кто из тогдашних гостей стал ее любовником? Мы впервые увидели друг друга на вечеринке в ее доме, где пили плохой южноафриканский херес, ведь шла война в Испании. Наверное, я заметил Сару потому, что она была счастлива, – в те годы ощущение счастья потихоньку умирало. Счастливыми бывали пьяные, дети, больше никто. Сара сразу понравилась мне, когда сказала, что прочла мои книги – и все, больше про них не говорила; наконец во мне увидели человека, а не писателя! Я и не думал в нее влюбляться – она была красива, а красивые женщины, если они еще и умны, как-то принижают меня. Не знаю, есть ли в психологии «комплекс короля Кофетуа», но меня не тянуло к женщинам, если я не ощущал, что я выше их. Тогда, в первый раз, я заметил, что Сара красива и счастлива, и еще – что она трогает собеседника рукой, словно он ей очень дорог. Из всего, что она говорила, помню одну фразу: «Видно, вы многих не любите». Наверное, я ругал писателей. Не помню.

Какое было лето!.. Месяца не назову, и не пытаюсь – чтобы это вспомнить, надо пройти сквозь толщу боли, но я запомнил, как, перепив этого хереса, я покинул жаркую, набитую комнату и вышел вместе с Генри. Солнце светило прямо сверху, трава казалась белой. Дома

вдалеке были как на старой гравюре – четкие, тихие, маленькие; где-то плакал ребенок. Церковка восемнадцатого века стояла, словно игрушка, на островке газона – игрушка, которую можно оставить во тьме, на сухой жаре. В такой час хочется открыть душу чужому.

Генри сказал:

– Мы могли быть такими счастливыми!..

– Да, – ответил я.

Он очень понравился мне, когда стоял под деревьями, покинув своих гостей, и в глазах у него блестели слезы.

– Красивый у вас дом, – сказал я.

– Это жена выбрала.

Познакомились мы за неделю до этого, тоже в гостях. Он служил в министерстве, и я пристал к нему, чтобы собрать материал. Через два дня пришло приглашение. Позже я узнал, что это Сара посоветовала меня позвать.

– Вы давно женаты? – спросил я.

– Десять лет.

– У вас очаровательная жена.

– Она мне очень помогает, – сказал он. Бедный Генри!.. А почему, собственно, бедный? Ведь у него остались лучшие карты – доверие, смирение, нежность.

– Мне пора вернуться, – сказал он. – Нельзя все бросать на нее, – и тронул мой рукав, словно мы давно знакомы. У нее он научился, что ли? Муж и жена становятся похожи. Мы вернулись, и, когда открылась дверь, я увидел в зеркале, как женщина целует мужчину. Женщина была Сара. Я посмотрел на Генри. Он ее не заметил или не обратил внимания. «А если заметил, – подумал я, – какой же он несчастный!»

Счел бы это важным мистер Сэвидж? Позже я узнал, что с Сарой стоял не любовник, а сослуживец Генри, от которого сбежала жена. Сара познакомилась с ним в тот самый день, и вряд ли именно он сейчас целует ее. У любви не такой долгий инкубационный период.

Хотел бы я не трогать тех времен – когда я пишу о них, ненависть возвращается. Видимо, ее вырабатывают те же самые железы, что и любовь, – результаты такие же. Если бы нас не учили, как понимать Страсти Христовы, догадались бы мы, кто любил Христа – ревнивый Иуда или трусливый Петр?

Когда я пришел домой и хозяйка сказала, что мне звонила миссис Майлз, я обрадовался, как радовался прежде, услышав в передней ее шаги. Безумная надежда посетила меня – я подумал, что новая встреча разбудила пусть не любовь, но какое-то чувство, какую-то память, их ведь можно разбудить. Мне показалось, что если мы хоть раз будем вместе – ненадолго, наспех, как-нибудь, – я наконец успокоюсь, избавлюсь от наваждения и брошу ее, не она меня.

Странно было через полтора года набирать 77-53, еще удивительней, что пришлось посмотреть в книжку – я усомнился в последней цифре. Слушая гудки, я гадал, вернулся ли Генри со службы, и думал, что сказать, если ответит он. Потом я понял, что теперь лгать не надо. Без лжи мне стало так одиноко, словно она – мой единственный друг.

Голос идеальной служанки произнес:

– Слушаю.

– Можно попросить миссис Майлз? – спросил я.

– Миссис Майлз?

– Это семьдесят семь пятьдесят три?

– Да.

– Я хотел бы поговорить с миссис Майлз.

– Вы перепутали номер,– и она повесила трубку. Мне и в голову не приходило, что такие пустяки тоже меняются со временем.

Я посмотрел в телефонной книге, номер был прежний – она устарела не меньше чем на год,– и решил узнать по справочной, как вдруг зазвонил телефон, и это была Сара.

– Алло...– растерянно сказала она. Сара никогда не называла меня ни по имени, ни по фамилии, и теперь, когда исчезли ласковые прозвища, не знала, как быть. Я ответил:

– Бендрикс у телефона.

– Это я, Сара. Вам не передали, что я звонила?

– А, я как раз собирался позвонить. Сперва хотел кончить статью. Кстати, я забыл ваш номер. В книге он есть?

– Нет, еще нету. Он теперь другой, шестьдесят два ноль четыре. Я хотела спросить...

– Да?

– Вы не пугайтесь! Я хотела позавтракать с вами, вот и все.

– Конечно, очень рад. Когда именно?

– Завтра нельзя?

– Нет. Завтра – нет. Понимаете, статью кончаю...

– А в среду?

– Может, в четверг?

– Хорошо,– сказала она, и я сумел расслышать обиду. Так обманывает нас гордость.

– Значит, в час, в кафе «Ройял».

– Спасибо,– сказала она, и я понял, что она благодарит искренне.– До четверга.

– До четверга.

Я сидел с трубкой в руке, и ненависть вдруг показалась мне уродкой и дурой, которую я знать не хочу. Когда я набрал номер, Сара, наверное, еще не отошла от телефона.

– Сара,– сказал я.– Да, завтра. Там же. В час. И подумал: «А, помню, помню! Это – надежда».

Я положил газету на стол и несколько раз подряд прочитал одну и ту же страницу, чтобы не смотреть на дверь, хотя люди все время входили, и не я один выдал бы глупое волнение, если бы поднял голову. Чего мы ждем, почему так стыдимся разочарования? В газете, как обычно, были убийство и парламентские споры о нормах на сахар. Она опаздывала, прошло пять лишних минут.

Вошла она, когда я взглянул на часы, так уж мне везет. Я услышал ее голос.

– Простите,– сказала она.– Автобуса долго не было.

– На метро быстрее,– сказал я.

– Да, конечно, но я не хотела спешить.

Она часто удивляла меня правдивостью. Когда мы любили друг друга, я очень хотел, чтобы она приврала – сказала, что мы никогда не расстанемся, что мы поженимся. Я бы ей не поверил, мне просто хотелось это услышать, может быть – чтобы возразить. Но она не играла, не притворялась, а потом вдруг поражала меня такими нежными, такими щедрыми словами... Помню, я как-то совсем загрустил (она спокойно сказала, что когда-нибудь мы расстанемся непременно) и услышал в несказанной радости: «Я никогда никого так не любила и не полюблю». Конечно, думал я, она сама не знает, что играет в ту же игру.

Сара села рядом со мной и спросила бокал светлого пива.

– Я заказал столик в «Рулз»,– сказал я.

– А здесь нельзя остаться?

– Мы обычно туда ходили.

– Да.

Наверное, мы держались странно – на нас смотрел человек, сидевший неподалеку на диване. Я стал на него глядеть, он отвернулся. У него были длинные усы, робкие глаза. Отворачиваясь, он задел локтем свое пиво, кружка упала на пол, он совсем смутился. Мне стало стыдно – в конце концов, он мог узнать меня по фотографиям, мог читать мои книги. Рядом с ним сидел мальчик, а как жестоко унижить отца при сыне! Мальчик страшно покраснел, когда официант подбежал к ним и отец стал слишком усердно просить прощения. Я сказал Саре:

– Конечно, если хотите завтракать здесь...

– Понимаете, – сказала она, – я больше там не бывала.

– Вы не очень любили этот ресторан, да?

– А вы туда часто ходите?

– Мне там нравится. Раза два в неделю. Она резко встала, произнесла: «Пойдемте» – и вдруг закашлялась. Странно было, что такой сильный кашель сотрясает такое хрупкое тело. Лоб у нее вспотел.

– Что ж это вы, – сказал я.

– Ничего, простите.

– Такси возьмем?

– Я бы лучше прошлась.

На Мейден-лейн, по левой стороне, есть дверь и решетка. Мы молча их миновали. После того, первого обеда, когда я расспрашивал ее про Генри и заинтересовался ею, я поцеловал ее здесь по пути к метро, сам не знаю почему – может быть, вспомнил отражение в зеркале. Я не думал за ней ухаживать, я даже не думал снова увидеться с ней. Она была слишком красива, чтобы оказаться доступной.

Когда мы сели за столик, один из старых официантов сказал мне:

– Давно вы у нас не были, сэр, – и я пожалел, что солгал Саре.

– Теперь я обедаю наверху, – ответил я.

– А вы, мэм, давно не заходили...

– Почти два года, – сказала она с той точностью, которую я иногда ненавидел.

– Вы всегда заказывали светлое пиво.

– Какая у вас память, Альфред, – сказала она, и он расплылся. Ей всегда удавалось ладить с ними.

Подали еду, мы прервали наш скучный разговор, и только когда мы поели, она заговорила.

– Я хотела с вами позавтракать, – сказала она, – хотела поговорить про Генри.

– Про Генри? – повторил я, стараясь не выказать разочарования.

– Я беспокоюсь. Как он вам тогда показался? Вы ничего не заметили странного?

– Нет, не заметил, – сказал я.

– Я хотела спросить... да, вы заняты, но... не могли бы вы как-нибудь к нему зайти? Мне кажется, ему одиноко.

– С вами?

– Вы же знаете, он меня толком не замечает. Очень давно.

– Может быть, он вас замечает, когда вас нет?

– Я редко ухожу, – сказала она, – теперь... – и, к счастью, закашлялась. Когда приступ кончился, она уже продумала будущие ходы – а раньше не любила избегать правды.

– Вы пишете новую книгу? – спросила она, как чужая, как в гостях. Так она не говорила даже тогда, когда мы пили южноафриканский херес.

– Да, конечно.

– Последняя мне не очень понравилась.

– Трудно было писать. Война кончалась... Надо бы сказать «начиналась».

– Я все боялась, что вы приметесь за тот замысел. Многие так бы и сделали.

– Книгу я пишу целый год. Слишком тяжелый труд для мести.

– – Если бы вы знали, что и мстить-то не за что...

– Конечно, я шучу. Нам было хорошо вместе, мы оба взрослые, мы знали, что это когда-нибудь кончится. А теперь вот можем сидеть, говорить про Генри.

Я заплатил, мы вышли, через двадцать ярдов была решетка.

– Вы к Стрэнду? – спросил я.

– Нет, мне на Лестер-сквер.

– А мне на Стрэнд.

Она стояла у двери, на улице никого не было.

– До свиданья, – сказал я. – Рад был повидаться.

– Да.

– Позвоните как-нибудь.

Я чувствовал ногой решетку. Я сделал шаг и сказал:

– Сара...

Она быстро отвернулась, словно смотрела, не идет ли кто, успеем ли мы... но тут снова закашлялась. Кашляла и кашляла, согнувшись, глаза у нее покраснели. В своей меховой шубке она была похожа на загнанного зверька.

– Простите.

– Надо бы полечиться, – сказал я с горечью, словно у меня что-то украли.

– Ничего, я просто кашляю, – она протянула мне руку и прибавила: – До свиданья... Морис.

Услышав свое имя, я обиделся и не взял протянутой руки. Я ушел быстро, не оборачиваясь, чтобы она подумала, что я занят и рад освободиться, а когда снова раздался кашель, пожалел, что не могу засвистеть что-нибудь веселенькое, бойкое, наглое. У меня плохой слух.

Когда в молодости создаешь свои рабочие привычки, кажется, что они продержатся всю жизнь и выдержат любую беду. Больше двадцати лет я писал по пятьсот слов в день, пять дней в неделю. Роман я пишу за год, остается время все перечитать и выправить после машинки. Норму я выполнял всегда, а выполнив – кончал работу, хоть бы и на половине сцены. Иногда я останавливаюсь, подсчитываю и отмечаю на рукописи, сколько сделал. Типографии ничего подсчитывать не надо, я пишу на первой странице цифры – скажем, 83764. В молодости даже свидания мне не мешали, я не назначал их раньше часу и, как бы поздно ни лег (если спал у себя, конечно), перечитывал то, что сделал утром. Не помешала мне и война. На фронт меня не послали, я хромой, а товарищи по гражданской обороне только радовались, что меня не привлекают спокойные утренние дежурства. В конце концов стали считать, что я – убежденный, серьезный человек, тогда как серьезно я относился только к письменному столу, к листу бумаги, к отмеренному числу слов, стекающих с пера. Одна лишь Сара смогла разрушить мое самодельное правило. И первые бомбежки, и «фау-1» 1944 года бывали ночью. Сара могла прийти только утром, позже к ней ходили люди – отоварившись, они почти всегда хотели поболтать до вечерней сирены. Иногда она забегала между двумя очередями, и мы любили друг друга, скажем, между бакалеей и мясом.

Но я и тогда мог потом сесть за работу. Пока ты счастлив, ты выдержишь любой распорядок, это горе сломало мои рабочие правила. Когда я заметил, как часто мы ссоримся, как часто я мучаю Сару своей раздражительностью, я понял, что наша любовь обречена – она превратилась в любовную связь, у которой есть начало, есть и конец. Я мог сказать, в какой миг она началась, и понял однажды, что могу сказать, в какой час она кончится. Расставшись с Сарой, я не начинал работать, я вспоминал, что мы говорили друг другу, и сердился или каялся, но всегда знал, что ускоряю ход событий, гоню и выгалкиваю из моей жизни единственное, что

люблю. Пока я верил, что любовь жива, я был счастлив, я не раздражался, вот она и тянулась. Если же ей суждено умереть, я хотел, чтобы она умерла побыстрее. Все было так, словно любовь – какой-то зверек, попавший в ловушку: ему очень плохо, он истекает кровью, надо закрыть глаза и его убить.

Работать я не мог. Я уже говорил, что работа наша свершается в подсознании, последнее слово написано там прежде, чем первое появится на бумаге. Мы вспоминаем, а не сочиняем. Война не тревожила этих глубин, но конец любви был намного важнее и войны, и книги. Я творил этот конец: слово, из-за которого Сара плакала, казалось бы – такое внезапное, рождалось в подводных пещерах. Книга не ладилась, любовь спешила к концу, гонимая вдохновением.

Ничуть не удивляюсь, что Саре книга не понравилась. Я писал ее без музыки, без помощи, без всякой причины – просто так, чтобы жить дальше. Критики говорили, что это – работа мастера; да, только мастерство и осталось от былой страсти. Я надеялся, что страсть вернется, когда я стану писать другую книгу, – разволнуюсь и вспомню то, чего и не знал. Но целую неделю после встречи с Сарой я вообще не мог работать. Вот, опять "я" да "я", словно речь обо мне, а не о Саре, о Генри и, конечно, о том, кого я ненавидел, не зная, даже в него не веря.

Я попробовал писать с утра, ничего не вышло. За обедом я слишком много выпил, до вечера работать не мог. Когда стемнело, я стал у окна, не зажигая света, и смотрел на освещенные окна по ту сторону. Было очень холодно, я мог согреться только у самой печки, а там сильно припекало. Редкие хлопья снега медленно проплыли мимо фонарей и коснулись стекла мокрыми пальцами. Я не услышал, что внизу звонят. Хозяйка постучалась и сказала: «К вам какой-то Паркис», подчеркивая самым словом невысокий ранг посетителя. Я не знал, кто это такой, но сказал, чтобы она егопустила.

Когда он вошел, я подумал, где же я видел этот кроткий, виноватый взгляд, эти старомодные усы, мокрые от снега. Я зажег настольную лампу, он подошел к ней и, близоруко щурясь, пытался разглядеть меня в полумгле.

– Мистер Бендрикс? – спросил он.

– Да.

– А я Паркис, – сказал он, словно это что-то для меня значило, и прибавил: – От мистера Сэвиджа, сэр.

– А, конечно, – сказал я. – Садитесь. Вот сигареты.

– Нет, что вы, – сказал он. – На службе не курю. Разве что для виду.

– Вы сейчас на службе?

– Ну, все-таки. Меня только отпустили на полчаса, для отчета. Мистер Сэвидж сказал, вы хотите каждую неделю.

– Есть новости?

Я толком не знал, рад я или разочарован.

– Кое-что есть, – с удовольствием сказал он и вытащил из кармана немислимое количество бумажек и конвертов.

– Присядьте, – сказал я. – А то неудобно как-то.

– Как хотите, сэр, – сказал он, сел и, видимо, разглядел меня лучше. – Простите, мы с вами не встречались?

И вынул из конверта листок. Там были записаны расходы четким, аккуратным, как у школьника, почерком.

– У вас прекрасный почерк, – сказал я.

– Это не я, это сын, – сказал Паркис. – Учю его, готовлю. – И тут же быстро прибавил: – Он ничего не знает, сэр, только дежурит, как вот сейчас.



– Он сейчас дежурит?

– Пока я у вас, сэр.

– Сколько ему лет?

– Начало двенадцатого, – сказал он, словно я спросил, который час. – Он пользу приносит, а расходов никаких, разве что комикс ему купишь. Его никто не замечает. Мальчики прямо созданы для нашего дела.

– Странная работа для ребенка.

– Ну, сэр, он ведь не понимает. Если надо будет в спальню войти, я его не возьму. Я прочитал:

18 января.

Две вечерних газеты 2 п.

Домой на метро 1/8 п.

Кофе 2 п.

Он смотрел на меня, пока я читал.

– Кафе оказалось дорогое, – сказал он. – Пришлось хоть это спросить, а то бы обратили внимание.

19 января.

Метро 2/4 п.

Пиво (бутылка) 3/

Коктейль 2/6 п.

Пиво 1/6 п.

Он снова заговорил:

– С пивом я виноват, сэр. Разбил, понимаете, кружку. Разволновался, был материал. Знаете, иногда неделями ждешь, а тут на второй день.

Конечно, я вспомнил и его, и смущенного мальчика. (Я сразу увидел, что за 18 января какие-то незначительные записи.) Под «19 янв.» я прочитал: «Особа N отправилась автобусом на Пиккадилли-серкус. По-видимому, взволнована. Прошла по Эйр-стрит до кафе „Ройял“, где ее ожидал мужчина. Мы с мальчиком...»

Он не давал мне читать.

– Видите, сэр, почерк другой. Мальчик никогда не пишет, если данные частного характера.

– Бережете его, – сказал я и прочитал:

«Мы с мальчиком сели поближе. Особа N и мужчина сидели рядом, обращались друг с другом попросту. Возможно – один раз он взял ее за руку под столом. Это неточно, но левая рука N и правая рука мужчины исчезли, что обычно свидетельствует о таких действиях. После недолгой интимной беседы прошли пешком в небольшой ресторан, где сели не за столик, а в кабинку и заказали отбивные».

– Про отбивные тоже важно?

– Бывает важно, сэр, чтобы опознать человека, если он их часто заказывает.

– Значит, вы его не опознали?

– Читайте, сэр, сами увидите.

«Когда я услышал про отбивные, я подошел к стойке и спросил коктейль, но ни от официантов, ни от буфетчицы ничего не узнал про мужчину. Хотя я спрашивал

небрежно, они насторожились, и я решил замолчать. Однако, завязав знакомство со швейцаром театра „Водевиль“, я мог наблюдать за рестораном».

– Как же вы завязали знакомство? – спросил я.

– В баре, сэр, когда я увидел, что они заказывают отбивные. Потом я проводил его до театра, там служебный вход...

– Я это место знаю.

– Понимаете, сэр, я старался писать только самое важное.

– Правильно.

Я читал дальше:

«После завтрака прошли по Мейден-лейн, простились у бакалейной. Видимо, очень волновались, и мне пришло в голову, что они прощаются навсегда. Конечно, тогда кончится и само дело».

Он снова прервал меня:

– Простите, я скажу о себе?

– Пожалуйста.

– Дело есть дело, а чувства, сэр, – это чувства. Мне очень понравилась дама, то есть особа N.

«Сперва я не знал, за кем из них идти, но решил, что слежу я все же за ней. Она направилась к Черинг-кросс, очень волновалась. Потом зашла в Национальную портретную галерею, но пробыла там минут пять...»

– Больше ничего важного нет?

– Нет, сэр. Я думаю, она хотела тихо посидеть, потому что потом она зашла в церковь.

– В церковь?

– В католическую, сэр, на Мейден-лейн. Она не молилась. Просто сидела.

– Откуда вы знаете?

– Я тоже туда зашел, сэр. Стал на колени, чтобы все было как следует. Она не молилась, это точно. Она не из католиков, сэр?

– Нет.

– Просто посидела в темноте, пока не успокоилась.

– Может, она кого-то ждала?

– Нет, сэр, она минут пять посидела, ни с кем не разговаривала. По-моему, она хотела поплакать.

– Все может быть. А насчет рук вы ошиблись.

– Насчет рук, сэр? Я придвинулся к свету.

– Мы не держали друг друга за руки.

И тут же я пожалел об этой шутке – пожалел, что еще больше пугаю такого робкого человека. Он глядел на меня, приоткрыв рот, словно ему стало больно и он ждет следующего приступа.

– Наверное, так часто бывает, – сказал я. – Мистер Сэвидж должен был нас познакомить.

– Нет, сэр, – растерянно сказал он, – это я виноват. Он наклонил голову и сидел, глядя на свою шляпу. Мне захотелось его подбодрить.

– Ничего, – сказал я. – Даже забавно, если взглянуть со стороны.

– Я-то внутри, сэр, – сказал он, крутя на коленях шляпу. Голос его был печален, как вид за

окном.— Мистер Сэвидж не рассердится, он поймет... Я из-за мальчика.— Он виновато, запуганно улыбнулся.— Знаете, какие они книжки читают. Ник Картер там, то да се...

— А вы ему не говорите.

— С детьми надо честно, сэр. Он всегда спрашивает. Он захочет узнать, как и что, он ведь учится делу.

— Скажите, что я этого человека знаю и он меня не интересуется.

— Спасибо, что предложили, сэр, но вы посудите сами. А вдруг он вас встретит, пока мы с ним работаем?

— Может, и не встретит.

— А может, и встретит, сэр.

— Оставьте его дома, не берите с собой.

— Так будет хуже, сэр. У него матери нет, а сейчас каникулы. Мы всегда на каникулах учимся, мистер Сэвидж разрешил. Нет. Свалял дурака — плати. Если бы он не был такой серьезный! Очень он горюет, когда я промажу. Как-то мистер Прентис, это мистера Сэвиджа помощник, крутой человек,— так вот, сказал он: «Опять вы промазали. Паркие», а мальчик-то услышал. Тогда он и понял про меня;

Он встал, очень смело (кто мы, чтобы измерять чужую храбрость?), и сказал:

— Простите, сэр, я все о своем.

— Мне было очень приятно, мистер Паркие,— сказал я и не солгал.— Не беспокойтесь. Мальчик, наверное, похож на вас.

— Он умный, в мать,— печально сказал Паркие.— Пойду, задержался. Холодно ему там, хотя я приискал хорошее местечко, где посуше. Только он очень бойкий, обязательно вылезет. Вы не подпишете счетик, если все так?

Я смотрел в окно, как он идет, подняв воротник, опустив поля шляпы. Снег стал гуще, и под третьим фонарем Паркие уже походил на маленького грязноватого снеговика. Вдруг я с удивлением понял, что минут десять не думаю ни о Саре, ни о ревности. Я стал таким человечным, что думал о чужих бедах.

Ревность, так думал я, возникает лишь там, где есть любовь. Авторы Ветхого Завета часто говорили о ревности Божьей — может БЫТЬ, они пытались, грубо и косвенно, выразить веру в то, что Бог человека любит.

Но любовь бывает разная. Теперь я скорее ненавидел, чем любил, а Сара давно сказала мне, что Генри не испытывает к ней вожделенья, и все же сейчас он ревновал не меньше моего. Он хотел не страсти, а дружбы. Почувствовав впервые, что Сара с ним не делится, он заволновался и пал духом, гадая, что же происходит или произойдет. Неуверенность мучила его, и в этом смысле ему было хуже, чем мне,— я твердо знал, что у меня ничего нет. Я все потерял, у него многое осталось: она обедала вместе с ним, целовала его в щеку, он слышал ее шаги на лестнице, стук двери — вот и все, наверное, но если ты умираешь от голода, это очень много. Да, ему хуже, чем мне, я никогда ни в чем уверен не был, он — был. Что там, когда Паркие шел к их дому, Генри вообще не знал, что мы любили друг друга. Я написал эти слова, и, против воли, разум мой вернулся обратно, к тому мигу, с которого началась боль.

После того, как я поцеловал Сару на Мейден-лейн, я не звонил ей целую неделю. Еще за обедом она сказала, что Генри не любит кино, они туда редко ходят. Как раз шел фильм по одной моей книге, и я пригласил Сару к Уорнеру — отчасти из тщеславия, отчасти из вежливости, отчасти же потому, что меня по-прежнему занимала жизнь крупного чиновника.

— Генри звать не стоит? — спросил я.

— Конечно нет.

— Может, он потом с нами пообедает?

– Он берет домой очень много работы. Какой-то чертов либерал сделал запрос о вдовах, на той неделе ждет ответа.

Можно сказать, что либерал (кажется, депутат от Уэльса, по фамилии Льюис) постелил нашу первую постель.

Картина была плохая, иногда я просто не мог смотреть, как сцены, такие живые для меня, превращались в киношные клише, и жалел, что не пригласил Сару еще куда-нибудь. Сперва я сказал ей: «Понимаете, я совсем не то писал», – но нельзя же повторять это все время. Сара ласково тронула мою руку, и мы сидели потом, взявшись за руки, словно дети или влюбленные. Вдруг неожиданно, всего на несколько минут, фильм ожил. Я забыл, что это я сам и выдумал, создал эти фразы, – так умилила меня сцена в ресторанчике. «Он» заказал мясо с луком, «она» боялась есть лук, потому что муж не любит этого запаха, «он» обиделся, догадавшись, почему она не решается, и представив себе, как муж поцелует ее, когда она вернется домой. Да, хорошая была сцена – я хотел изобразить страсть без пылких слов, без жестов, и это мне удалось. Несколько секунд я был счастлив, ни о чем не помнил, кроме своей удачи. Мне хотелось пойти домой, перечитать это место, написать еще что-нибудь – и я очень, очень жалел, что пригласил Сару Майлз в ресторан.

Позже, в ресторане, когда нам подали мясо, Сара сказала:

– Вот одна сцена точно ваша.

– Где лук?

– Да.

И в эту минуту нам подали лук. Мне и в голову ничего не пришло, я просто спросил:

– Генри не рассердится?

– Он лук терпеть не может. А вы?

– Я очень люблю.

Она положила луку и мне, и себе.

Можно влюбиться над блюдом лука? Вроде бы нет, но, честное слово, со мной было именно так. Конечно, дело не только в луке – я увидел Сару как она есть, увидел ту искренность, которая позже так радовала и так терзала меня. Незаметно, под столиком, я положил ей руку на колено, она мою руку удержала. Я сказал:

– Хороший бифштекс. И услышал, словно стихи:

– Никогда таких не ела!

Я не ухаживал за ней, не соблазнял ее. Мы не доели мясо, не допили вино и вышли на улицу, думая об одном и том же. Точно гам, где в первый раз, мы поцеловались, и я сказал:

– Я влюбился.

– И я, – сказала Сара.

– Домой не пойдём.

– Да.

У метро «Черинг-кросс» мы взяли такси, и я велел шоферу ехать на Арбакл авеню. Так окрестили сами шоферы несколько гостиниц у Паддинг-тонского вокзала с шикарными названиями – «Ритц», «Карлтон» и прочее. Двери там не закрывались, и вы могли взять номер в любое время – на час, на два. Недавно я там был. Половины гостиниц нет, одни развалины, а на том самом месте, где мы любили друг друга, – дырка, пустота. Называлась гостиница «Бристоль», в холле стоял вазон с папоротником, хозяйка (волосы у нее были голубые) отвела нам лучший номер, в стиле начала века, с золоченой двуспальной кроватью, красными бархатными портьерами и огромным зеркалом. (Те, кто приходил в эти гостиницы, никогда не требовали двух кроватей.) Я прекрасно помню ничтожные подробности – хозяйка спросила, останемся ли мы на ночь, номер стоил пятнадцать шиллингов, электрический счетчик брал

только шиллинги, а у нас их не было – и не помню, какой была Сара, что мы делали. Знаю только, что мы очень волновались. Главное было в том, что мы начали, перед нами лежала вся жизнь. У дверей нашей комнаты («нашей», через полчаса!) я снова ее поцеловал и сказал, что подумать о Генри не могу, а она ответила:

– Не волнуйся, он занят вдовами.

– Какой ужас, – сказал я, – что он тебя поцелует!

– Не поцелует, – сказала она. – Он ненавидит лук. Я проводил ее домой. У Генри в кабинете горел свет, мы с ней пошли наверх, в гостиную. Мы никак не могли расстаться.

– Он сюда придет, – сказал я.

– Мы услышим, – сказала Сара и прибавила страшно и просто: – Одна ступенька всегда скрипит.

Я так и не снял пальто. Мы целовались, когда слышали скрип. Генри вошел, и я с болью увидел, как спокойно ее лицо. Она сказала:

– Мы думали, ты нам предложишь чего-нибудь выпить. – Конечно, – сказал Генри. – Что вам налить, Бендрикс? Я сказал, что пить не буду, собираюсь поработать.

– А я думал, – сказал он, – что вы по вечерам не работаете.

– Так, ерунда, – сказал я. – Рецензия.

– На интересную книгу?

– Нет, не особенно.

– Хотел бы я... Ну, писать, как вы.

Сара проводила меня до дверей, и мы опять поцеловались. В ту минуту я любил не ее, а Генри. Мне казалось, что все мужчины, какие были, и все, какие будут, бросают на нас тени.

– Что с тобой? – спросила она. Она всегда и сразу понимала, что за поцелуем, слышала шепот души.

– Ничего, – сказал я. – Утром позвоню.

– Лучше я позвоню, – сказала она, а я подумал, как ловко и легко ведет она любовную связь, и вспомнил про скрипучую ступеньку. Она сказала: «Всегда».

Рассказать о печали гораздо легче, чем рассказать о радости. Когда нам плохо, мы осознаем нашу жизнь, хотя бы и до ужаса себялюбиво – это я страдаю, это мои нервы измотаны. Счастье уничтожает нас, мы себя не чувствуем. Словами обычной, земной любви святые выражали свою любовь к Богу, и, наверное, мы можем прибегнуть к словарю молитвы, размышления, созерцания, чтобы объяснить, как сосредоточенно и напряженно мы любим женщину. Мы тоже отдаем память, разум, разумение, тоже знаем «темную ночь», *posche oscura* [Термин из мистического учения кармелитского богослова XVI века Св. Иоанна (Хуан де ля Крус). (Здесь и далее – прим. перев.)], и тоже обретаем взамен особый покой. Соитие называли малой смертью; любовники познают иногда что-то вроде малого блаженства. Странно, что я это все пишу, словно люблю, – ведь я ненавижу. Иногда я не понимаю собственных мыслей. Что я знаю о «темной ночи» или о молитве? У меня одна молитва, одна мольба. Я унаследовал эти слова как муж, которому достались ненужные платья, духи, кремы. И все же этот покой был.

Так вспоминаю я первые месяцы войны – быть может, то был пустой мир, как пустою стала война? Он будто бы простер покров над временем неясных ожиданий, но все-таки уже и тогда бывали и горести, и подозрения. В тот первый вечер я шел домой не счастливый, а грустный и растерянный, и потом каждый день я возвращался домой, все больше убеждаясь, что я – один из многих. Сейчас она выбрала меня. Я так любил ее, что, просыпаясь ночью, тут же вспоминал и больше спать не мог. Вроде бы она отдала мне все свое время, но я ей не доверял. Когда мы были вместе, я становился властным; когда, оставшись один, я смотрелся в зеркало и видел худое лицо, хромую ногу, я думал: «Почему же меня?» Часто мы не могли встретиться – она шла в парикмахерскую, или к зубному врачу, или сидела с Генри. Тщетно говорил я себе, что там, дома, она не может изменить мне (с каким эгоизмом употреблял я это слово, как будто речь шла о долге!), пока Генри занимается вдовами, а потом – противозадами и карточками: я прекрасно знал, что никакие обстоятельства не помешают, была бы только страсть. Чем большего ты добился, тем сильнее подозреваешь. Да что там, второе наше свидание было поистине невозможным.

Проснулся я, огорчась ее последней, осторожной фразе, но через три минуты это развеял голос в телефоне. Ни раньше, ни позже не знал я женщины, которая могла бы изменить все простым телефонным разговором, а когда она приходила ко мне или касалась меня, я ей полностью верил до тех пор, пока мы не расставались.

– Алло, – сказала она. – Вы не спите?

– Нет. Когда мы увидимся? Сегодня утром?

– Генри простудился. Он дома.

– Если бы вы могли прийти ко мне...

– Я должна отвечать на звонки.

– Из-за какой-то простуды?

Вчера я пожалел Генри, сейчас он стал врагом, над которым можно глумиться, ненавидеть его, топтать.

– Он совсем охрип.

Мне было приятно, что у него такая нелепая болезнь – крупный чиновник охрип, еле шепчет, не может заниматься вдовами.

– А вас нельзя увидеть? – спросил я.

– Конечно можно.

Она замолчала, и я подумал, что нас прервали. Я стал кричать «Алло! Алло!», но она

просто думала, быстро прикидывая, чтобы поточнее ответить.

– В час дня я отнесу ему поднос. Мы с вами можем поесть сандвичей наверху в гостиной. Я ему скажу, что вы хотите поговорить о картине... или о вашей книге.

Спокойствие мое и доверие тут же исчезли – я подумал: сколько раз она прикидывала вот так? Звоня у ее дверей, я был ей врагом или сыщиком, следящим за ее словами, как через несколько лет следили за ней самой Паркис и его сын. Тут дверь открылась, доверие вернулось.

В те дни мы не думали, меня ли к ней тянет, ее ли ко мне, – мы были вместе. Она отнесла Генри поднос (он сидел в зеленом халате, подложив под спину две подушки), и тут же, на твердом полу, не закрыв двери, мы обняли друг друга. Мне пришлось понежнее прикрыть ей рукою рот, чтобы Генри не услышал странного, печального, сердитого крика.

Скрючившись рядом с ней, я глядел на нее и глядел, словно никогда не увижу русских волос, разлившихся по полу, капелек пота на лбу, не услышу тяжелого дыхания, будто она бежала наперегонки, победила и не может отдышаться.

И тут заскрипела ступенька. Секунду-другую мы не двигались. Нетронутые сандвичи стояли на столе, пустые бокалы. Она прошептала: «Пошел вниз...» - села в кресло, взяла на колени тарелку.

– А вдруг он слышал? – сказал я.

– Он не поймет, что это.

Наверное, я глядел недоверчиво, и она сказала неприятно нежным тоном:

– Бедный Генри! За десять лет такого не было.

Но я не успокоился, и мы сидели тихо, пока опять не скрипнула ступенька. Собственный голос показался мне фальшивым, когда я громко сказал:

– Я рад, что вам понравилась сцена с луком. Тут Генри заглянул в комнату. Он нес грелку в сером фланелевом чехле.

– Здравствуйте, Бендрикс, – просипел он.

– Я бы принесла, – сказала Сара.

– Я не хотел тебя беспокоить.

– А мы говорим о вчерашней картине. Он посмотрел на мой бокал.

– Ты бы лучше дала бордо двадцать третьего года, – проговорил он своим одномерным голосом и ушел, прижимая грелку в чехле.

– Как, ничего? – спросил я; она покачала головой.

Сам не знаю, что я имел в виду; наверное, подумал, что при виде Генри ей стало не по себе, но она умела, как никто, прогонять угрызения совести. В отличие от всех нас, она не знала вины. Она считала: что сделано, то сделано, чего же угрызаться? Если бы Генри нас застал, она бы решила, что ему не с чего сердиться. Говорят, католики после исповеди освобождаются от греха – что ж, в этом смысле она была истинной католичкой, хотя верила в Бога не больше, чем я. Нет, так я думал тогда, теперь – не знаю.

Если книга моя собьется с курса, это потому, что сам я заблудился – у меня нет карты. Иногда я думаю, пишу ли я хоть капельку правды? В тот день я беспредельно доверял ей, когда она вдруг сказала мне, хоть я ни о чем не спрашивал: «Я никогда и никого не любила так, как тебя», – словно, сидя в кресле, держа недоеденный сандвич, она отдалась мне вся, целиком, как пять минут назад на полу. Кто из нас решится говорить вот так, без оглядки? Мы помним, предвидим, колеблемся. Она сомнений не знала. Ей было важно одно – что происходит сейчас. Говорят, вечность – не бесконечное время, но отсутствие времени, и мне иногда кажется, что, забывая себя, Сара касалась этой математической точки, у которой нет измерений, нет протяженности. Что значило время – все прошлое, все мужчины, которых она время от времени (вот оно, снова!) знала, или будущее, когда она могла бы точно с той же правдивостью сказать

то же самое? Я ответил, что и я так люблю, и солгал, ибо я никогда не забываю о времени. Для меня нет настоящего – оно либо в прошлом году, либо на будущей неделе.

Не лгала она и тогда, когда сказала: «Никого так не люблю». Просто у времени есть противоречия, у математической точки их нет. Она любила гораздо лучше, чем я, – ведь я не мог отгородить настоящее, я всегда помнил, всегда боялся. Даже в самый миг любви я, словно сыщик, собирал улики еще не совершенных преступлений, и через четыре с лишним года, когда я открыл письмо Паркиса, память о них умножила мою скорбь.

«С удовольствием сообщаю, сэр, – писал Паркис, – что и я, и мой мальчик завязали знакомство со служанкой из дома 17, что ускорит наши изыскания, т. к. я теперь могу заглянуть в записную книжку особы N, а также исследовать содержимое мусорной корзины, из которой мне удалось изъять ценную улику (прошу вернуть с замечаниями). Особа N несколько лет ведет дневник, но служанка, которую я в целях осторожности буду впредь называть „наш друг“, не смогла добыть его, т. к. особа N запирает его в стол, что само по себе подозрительно. Кроме того, предполагаю, что особа N не всегда делает то, что значится в записной книжке, пользуясь ею для отвода глаз, хотя и не желал бы исказить догадками расследование, в котором прежде всего требуется истинная правда».

Не только трагедия ранит нас – у нелепости тоже есть жалкое, смешное оружие. Иногда я очень хотел сунуть в рот мистеру Паркису эти дурацкие, уклончивые донесения, и непременно – при его мальчике. Все было так, словно, пытаясь поймать Сару (зачем? чтобы ранить Генри, чтобы ранить себя?), я подпустил шута к нашей с нею связи. Связи... И это слово – из его писем. Написал же он как-то: «Хотя у меня нет доказательств связи с лицом, проживающим на Седар-роуд, 16, особа N явно проявляет склонность к обману». Но это было потом. Из этого, первого письма я узнал только, что Сара пошла не к зубному врачу и не в парикмахерскую, а проследить, где же она была, не удалось. И тут, перевернув листок (лиловые буквы на дешевой бумаге), я увидел чистый и смелый почерк Сары. Я не думал, что сразу узнаю его через два года без малого.

К донесению был приколот обрывок бумажки. Паркис пометил его красным "А" и приписал: «Важно на случай суда, прошу вернуть». Он вынул это из корзины и расправил бережно, как любовник. Конечно, обращалась она к любовнику: «Мне незачем тебе писать или говорить с тобой, ты все знаешь раньше, чем я скажу, но когда любишь, хочешь говорить и писать, как всегда, как прежде. Я еще только начинаю любить, но мне надо отдать все и всех, кроме тебя, и мешают мне только страх и привычка. Дорогой мой...» И все. Записка вызывающе глядела на меня, а я думал, как же это я не запомнил каждую букву, каждый знак того, что она писала мне. Если бы ее записки были такими, я бы их хранил, но она именно боялась, что я сохраню их, и писала очень осторожно, чтобы я читал «между строк». А эта любовь сломала клетку строк, не могла скрываться. Помню, у нас было кодовое слово – «лук». Означало оно все то, что связывало нас. Любовь стала луком, даже соитие было луком, «...надо отдать все и всех, кроме тебя» – и лук, с ненавистью подумал я. Лук, вот что было в мое время.

Я написал: «Замечаний нет», положил клочок в конверт, но когда проснулся ночью, мог повторить все, с начала до конца, а слово «отдать» вызвало к жизни целые картины. Спать я не мог, лежал в темноте, образы сменялись: волосы на паркете, топкая лужайка за городом, в стороне от дороги, где изморозь сверкала под ее головой, а в самый последний момент появился трактор, и тракторист даже не обернулся. Почему ненависть не убивает страсти? Я бы все отдал, чтобы заснуть. Я бы вел себя как мальчишка, если б думал, что это ее заменит. Но я уже искал замену, и это не помогло.

Я человек ревнивый – глупо это писать, когда тут все о ревности, и к Генри, и к Саре, и к тому, кого Паркис так нелепо выслеживал. Теперь все в прошлом, я ревную к Генри, только



если очень уж живо воспоминание (были бы мы женаты, нам бы хватило счастья на всю жизнь, с моей-то страстью, с ее верностью!), а вот к сопернику ревную страшно. «Соперник»... Этому слову из мелодрамы не выразить той мучительной радости, того доверия, того счастья, которые выпали ему. Порой мне кажется, что он бы меня и не заметил, и я хочу крикнуть: «Нет, я есть! Я тут! Что бы потом ни случилось, она любила меня».

Мы с Сарой подолгу спорили о ревности. Я ревновал и к прошлому, она мне честно о нем говорила при случае – романы эти ничего не значили для нее (разве что она подсознательно стремилась к тому содроганию, которого не узнала с Генри). Любовникам она была верна, как мужу, – и мне, конечно, но даже это не утешало, а злило меня. Когда-то она смеялась над моей злостью, не верила в мою искренность, как не верила в свою красоту, а я злился, что она не ревнует меня ни к прошлому, ни к будущему. Я не верил, что можно любить иначе, я измерял любовь ревностью, и получалось, что она совсем меня не любит.

Доводы были всегда одни и те же, и я опишу лишь тот разговор, когда они кончились действием – глупым действием, оно не привело ни к чему, разве что к тому сомнению, которое приходит, только я начну писать: а вдруг права она, не прав – я?

Помню, я сердито сказал:

– Это все остатки твоей фригидности. Фригидные женщины не ревнуют. Ты просто еще не научилась нормальным человеческим чувствам. Я злился, что она не спорит.

– Может, ты прав. Я только хочу, чтобы ты был счастлив. Мне очень тяжело, когда ты страдаешь. Если ты отчего-то счастлив, вот и хорошо, я не против.

– Нет, постой. Если я с кем-нибудь сплю, ты думаешь, что и тебе можно.

– Да нет, я хочу тебе счастья, вот и все.

– Значит, постелила бы мне постель?

– Наверное.

Для любовника нет ничего хуже неуверенности – самый скучный, бесстрастный брак и то кажется лучше. Она искажает слова, отравляет доверие. В осажденном городе каждый страж – возможный предатель. Еще до Паркиса я пытался следить за ней – ловил на мелкой лжи, на уклончивости, которая значила только, что она меня боится. Каждую ложь я раздувал в измену, даже в самых ясных словах искал скрытый смысл. Я просто подумать не мог, что она – с другим, и все время этого боялся, подозревая дурное в случайных движениях руки.

– Разве ты не хочешь, чтобы я была счастливой, а не несчастной? – с невыносимой логичностью спросила она.

– Я скорее бы умер или тебя увидел мертвой, – сказал я, – чем с другим женщиной. Это простая человеческая любовь. Спроси кого хочешь. Всякий так скажет... если любит. Кто любит, тот и ревнует.

Мы были у меня. Стояла весна, смеркалось, времени у нас было много, а я завел ссору, и ничего не вышло. Она села на кровати и сказала:

– Прости. Я не хотела тебя злить. Наверное, ты прав. Но я не отстал. Я ненавижу ее, я хотел думать, что она меня не любит, хотел вышвырнуть ее из моей жизни. Что мне было нужно, зачем я к ней прицепился? Ну, любит, не любит – она не изменяла мне почти год, терпела мои обиды, мне было с ней очень хорошо, а что я ей дал, кроме мгновенных наслаждений? Роман я начал здраво, я знал, что когда-то он кончится, но неуверенность давила меня, как депрессия, я думал и выводил, что ждать мне нечего, и мучил ее, мучил, торопя будущее – нежеланного, незваного гостя. Любовь и страх заменили мне совесть. Если бы мы верили в грех, мы навряд ли вели бы себя иначе.

– Генри бы ты ревновала, – сказал я.

– Что ты! Нет. Это глупо.

– Если бы что-нибудь грозило твоему браку...

– Этого не будет, – печально сказала она, а я обиделся и быстро вышел на улицу. «Конец? – думал я, играя перед самим собой. – Возвращаться не надо. Если я выключу ее из жизни, что ж, я не найду тихой, доброй жены? Ревновать я не буду, ведь не буду так любить, доверяю – и все». Жалость к себе и ненависть шли рука об руку через сад, словно два сумасшедших без санитаров.

Когда я начал писать, я сказал, что это – о ненависти, а теперь не знаю. Быть может, я ненавижу так же плохо, как люблю. Сейчас я поднял глаза, увидел себя в зеркале над столом и подумал: «Неужели ненависть – вот такая?» Я вспомнил лицо, которое все мы детьми видим в окне лавки, затуманенном нашим дыханием, когда тоскливо взираем на яркие, недоступные предметы.

Кажется, этот наш спор был в мае 1940 года. Война во многом нам помогла, и я почти что видел в ней нечестного, ненадежного сообщника нашей связи (я намеренно думал именно так, «связь», чтобы растравить себя каустической содой слова, подразумевающего начало и конец). Германия вроде бы уже заняла Нидерланды, и весна пахла сладковато и мерзко, будто труп, но мне были важны только две вещи: Генри работал допоздна, а моя хозяйка перебралась в подвал, боясь бомбежек, и не выглядывала проверить, кто идет. Моя собственная жизнь не изменилась, я ведь хромым (одна нога короче – упал в детстве), только с началом бомбежек решил ходить на дежурства. Тогда я был как бы выключен из войны.

В тот вечер я все еще ненавидел и сомневался, когда дошел до Пик-кадилли. Больше всего на свете хотел я уязвить Сару. Я хотел привести к себе женщину и лечь с ней на ту же самую кровать; я как будто бы знал, что Саре станет больно, только если станет больно мне. На улице было темно и тихо, хотя по безлунному небу бродили лучи прожекторов. Женщины стояли у дверей и у входа в бомбоубежище, но лиц я различить не мог. Им приходилось светить фонариками, словно светлячкам, и до самой Сэквил-стрит двигались огоньки. Я подумал: что же делает Сара, ушла домой или ждет меня?

Женщина с фонариком сказала:

– Пойдем, миленький?

Я покачал головой. Дальше девица говорила с мужчиной; когда она посветила себе в лицо, я увидел, что она смуглая, юная, даже счастливая -зверек, не понимающий, что он в ловушке. Сперва я прошел мимо, потом вернулся. Мужчина как раз отошел.

– Выпьем? – предложил я.

– А домой пойдем?

– Да.

– Я бы хлебнула.

Мы пошли в кабачок, я заказал два виски, она пила, а я не мог видеть ее лицо, видел Сару. Она была моложе, конечно, – лет девятнадцати" не больше, красивей, мало того – невинней, но лишь потому, что нечего было портить. Она была мне нужна не больше, чем кошка или собака. Рассказывала она, что у нее есть хорошая квартирка совсем недалеко. Она сообщила, сколько платит, и сколько ей лет, и где она родилась, и как работала целый год в кафе. Она заверила, что ходит не со всяким, но сразу видит приличного мужчину. Она поведала, что у нее есть канарейка по имени Джонс – в честь джентльмена, который ее подарил. Она завела речь о том, как трудно устроиться в Лондоне. А я думал: если Сара еще у меня, я могу позвонить ей. Девица спросила, буду ли я вспоминать про канарейку, и прибавила: «Ничего, что я интересуюсь?»

Глядя на нее поверх стакана, я думал, как странно, что меня совершенно к ней не тянет, словно после всех этих распутных лет я вдруг стал взрослым. Любовь моя к Саре навсегда убила похоть. Больше я не смогу получать наслаждение без любви.

И уж никак не любовь привела меня в этот кабак. «Не любовь, а ненависть», – говорил я

себе тогда, говорю и сейчас, когда пишу, пытаюсь выключить Сару из жизни, – ведь я всегда считал, что, умри она, я ее забуду.

Я вышел на улицу, оставив девушку с виски и фунтовой бумажкой, чтобы не обижалась, и по Нью-Барлингтон-стрит добрался до телефонной будки. Фонарика у меня не было, пришлось чиркать спичками, пока я набирал номер. Услышав гудки, я представил телефон на столе. Я точно знал, сколько шагов надо сделать Саре, если она сидит в кресле или лежит в кровати. Но телефон звонил с полминуты в пустой комнате. Тогда я набрал уже Сарин номер, и служанка сказала, что ее нет. Я представил, как она идет в темноте через сад – там было не слишком спокойно. Взглянув на часы, я подумал, что, будь я поумней, мы провели бы вместе еще три часа. Потом я вернулся домой, пытался читать, телефон все не звонил. Сам я из гордости звонить не мог. Наконец я лег спать и принял две таблетки, так что проснулся от ее голоса, спокойного, как ни в чем не бывало.

Никогда не понимал, почему люди могут проглотить такую несообразность, как Бог, а в дьявола не верят. Уж я-то знал, как действует он в моем воображении. Что бы Сара ни сказала, у него находились доводы, хотя обычно он ждал, пока она уйдет. Он готовил задолго наши ссоры; он был врагом не Саре, но любви, а ведь его таким и считают. Если был бы любящий Бог, дьявол волей-неволей мешал бы самому слабому, самому жалкому подобию любви. Разве не боялся бы он, что привычка к любви укоренится, разве не стал бы склонять нас к предательству, не помогал гасить любовь? Если Бог использует нас и создает святых из такого материала, чем дьявол хуже? Вполне может быть, что даже из меня, даже из бедняги Паркиса он мечтает сделать своих святых, готовых разрушить любовь, где б они ее ни нашли.

В следующем донесении Паркиса я, кажется, и впрямь различил искреннюю страсть к бесовской игре. Наконец он почувствовал любовь и травил ее, а сын шел за ним, как охотничья собака. Паркис открыл, где проводит Сара столько времени; мало того, он знал точно, что свидания – тайные. Приходилось признать, что он умелый сыщик. Ему удалось (с помощью мальчика) выманить служанку на Седар-роуд как раз тогда, когда «особа N» шла к дому 16. Сара остановилась, заговорила с нею – у той был свободный день – и познакомилась с Паркисом-младшим. Потом она свернула за угол, а там притаился Паркис-старший. Он видел, как она прошла немного и вернулась. Когда она убедилась в том, что мальчика и служанки нет, она позвонила в дверь шестнадцатого дома, а Паркис-отец принялся выяснять, кто же в нем живет. Это оказалось нелегко, там были квартиры, а он еще не узнал, какой из трех звонков нажала Сара. Окончательные сведения он обещал добыть за несколько дней. Он собирался обогнать Сару и припудрить все три звонка. "Конечно, кроме улики "А", у нас нет доказательств неверности. Если потребуются для суда, придется через должное время последовать за особой N в помещение. Тогда нам будет нужен второй свидетель, дабы опознать ее. Заставать ее за самим делом – не обязательно: волнения и беспорядка в одежде достаточно для суда".

Ненависть похожа на вожделение – она нарастает, потом спадает. Бедная Сара, думал я, читая все это, ибо приступ ненависти прошел, я успокоился. Я мог жалеть ее, загнанную. Она ничего не сделала, только полюбила, а Паркис с сыном следят за каждым ее движением, заводят интриги с ее служанкой, припудривают звонки, хотят ворваться туда, где, быть может, она только и обретает покой. Я чуть было не порвал письмо и не отменил слежку. Наверное, я так бы и сделал, если бы не открыл в своем клубе «Тэтлер» и не увидел Генри на фотографии. Теперь он преуспевал, к последнему дню рождения короля он получил орден за свою службу, он был председателем Королевской комиссии – и вот, пожалуйста, он на премьере фильма «Последняя сирена», бледный, таращится от яркого света, под руку с Сарой. Она опустила голову, чтобы не видеть вспышки, но я бы где угодно узнал густые волосы, сопротивлявшиеся пальцам. Мне вдруг захотелось потрогать их (и другие волосы, тайные), мне захотелось, чтобы

Сара лежала рядом со мной, а я мог повернуть голову на подушке и поговорить с ней. Я жаждал едва уловимого запаха и вкуса ее кожи, но Генри был с нею, глядел в камеру самодовольно и уверенно, как начальник.

Я уселся под оленьей головой, которую подарил в 1898 году сэр Уолтер Безант, и написал Генри. Писал я, что у меня есть важные новости, надо обсудить их, пообедаем тут, в моем клубе, пусть он выберет любой день будущей недели. Конечно, он сразу позвонил и предложил пообедать у него – в жизни не видел человека, который так не любил бы ходить к кому-то. Не помню, какой был предлог, но тогда я рассердился. Кажется, он сказал, что у них какое-то особенное вино, но на самом деле он не хотел быть обязанным, даже в такой мелочи. Он и не догадывался, как мало он мне обязан. Выбрал он субботу, в этот день у нас в клубе никого нет. Журналисты не собирают материал, учителя уезжают к себе в Бромли или Стритэм, а священники не знаю, чем заняты – наверное, сидят дома, пишат проповеди. Что до писателей (для кого клуб и был основан), почти все они висят на стене – Конан Доил, Чарльз Гарвис, Стенли Уэймен, Нэт Гульд, еще какие-то знаменитые и знакомые лица. Живых можно сосчитать на пальцах одной руки. Я любил этот клуб, потому что там очень мало шансов встретить коллегу.

Помню, Генри, по простодушию, выбрал венский бифштекс. Наверное, он думал, что это вроде шницеля по-венски. Он был не у себя, слишком смутился, чтобы удивиться вслух, и как-то протаранил сырое розовое мясо. Я вспоминал, какой важный он на фотографии, и промолчал, когда он заказал пудинг «Кабинет». За этим мерзким обедом (клуб превзошел себя в тот день) мы старательно говорили о пустяках. Генри изо всех сил придавал секретность делам своей комиссии, о которых писали во всех газетах. Пить кофе мы пошли в гостиную и оказались уж совсем одни, перед камином, на черном волосяном диване. Я подумал, что рога на стенах очень к месту, и, положив ноги на старомодную решетку, прочно загнал Генри в угол. Помешивая кофе, я спросил:

– Как Сара?

– Спасибо, хорошо, – сказал уклончиво Генри. Вино он потягивал осторожно; видимо, не забыл венского бифштекса.

– Вы еще беспокоитесь? – спросил я. Он невесело отвел взгляд.

– Беспокоюсь?

– Ну, как тогда. Вы же сами говорили.

– Не помню. Она хорошо себя чувствует, – неловко объяснил он, словно я справился о здоровье.

– Вы не ходили к этим сыщикам?

– Я надеялся, вы забыли. Понимаете, я устал, комиссия... Переработал.

– Помните, я предложил пойти туда вместо вас?

– Мы оба немножко утомились. – Он глядел вверх, щурясь, чтобы разглядеть, кто подарил рога. – У вас тут много голов, – глупо прибавил он.

Я не отставал:

– Через несколько дней я был у него. Он поставил стакан.

– Бендрикс, вы не имеете права...

– Расходы несу я.

– Какая наглость!

Он встал, но не мог бы выйти, не толкнув меня, а насилия он не любил.

– Вы же хотели снять подозрения? – сказал я.

– Подозрений и нет.

– Вам бы надо прочитать отчеты.

– Не собираюсь...

– Тогда я лучше прочитаю вам про тайные свидания. Любовное письмо я вернул, им нужны улики. Дорогой Генри, вас обманули.

Он, кажется, и впрямь чуть меня не ударил. Тогда я с великой радостью дал бы сдачи, не ему, супружеским узам, которые Сара так нелепо чтит, но тут вошел секретарь клуба, высокий, седой, бородатый, в закапанном супом жилете. Выглядел он как викторианский поэт, а на самом деле писал печальные воспоминания о собаках. Повесть «Прощай, Фидо» имела большой успех в 1912 году.

– А, Бендрикс! – сказал он. – Давненько вас тут не видел.

Я познакомил их, и он сказал поспешно, как парикмахер:

– Каждый день читаю отчеты.

– Какие отчеты? – испугался Генри. Впервые в жизни он не сразу подумал о службе.

– Королевской комиссии.

Когда он ушел наконец. Генри сказал:

– Прошу вас, дайте мне отчеты и пропустите меня. Я представил себе, сколько он передумал, пока тут был секретарь, и вручил ему последний отчет. Он немедленно бросил его в огонь, проткнув кочергой для верности. Как-никак, в этом было достоинство.

– Что вы будете делать? – спросил я.

– Ничего.

– С фактами не поспоришь.

– К черту факты.

Никогда не слышал, чтобы он ругался.

– Я всегда могу дать вам копию.

– Вы меня пропустите или нет?

Дьявол сделал свое дело, яд мой исчез. Я убрал ноги с решетки. Генри тут же ушел из клуба, оставив шляпу, черную хорошую шляпу, которую я увидел на Коммон, под дождем, много веков, а не сколько-то недель назад.

Я думал его догнать или хотя бы увидеть еще до Уайтхолла и взял эту шляпу, но его нигде не было, и я повернул обратно, не зная, куда идти. Теперь у нас столько лишнего времени, просто сил никаких. Я заглянул в книжную лавочку у метро «Черинг-кросс» и прикинул: вполне возможно, что в этот самый миг Сара нажимает припудренную кнопку звонка на Седар-роуд, а Паркис караулит за углом. Если бы я мог обратить время вспять, я бы не подошел к Генри, пускай его идет один под дождем. Но что-то я не уверен, способен ли какое-либо из моих действий изменить ход событий. Теперь мы с Генри – союзники, на свой, особый лад, но боремся ли мы оба с неутомимым течением?

Я перешел дорогу, прошел мимо лотков с фруктами и нырнул в Вик-тория-гарденс. День был ветреный, серый, на скамейках сидело мало народу, и я почти сразу увидел Генри. В саду, без шляпы, он был одним из обездоленных, безымянных, тех, кто приехал из бедного пригорода и никого тут не знает, как старик, кормящий воробьев, или женщина с бумажным пакетом, на котором написано «Суон энд Эдгар». Он сидел, опустив голову, глядел на свои ботинки. Я так долго жалел себя, себя одного, что не умел пожалеть противника. Тихо положив шляпу рядом с ним, я хотел было уйти, но он поднял голову, и я увидел, что он плачет. Наверное, он прошел немалый путь. Слезы – не в том мире, в каком заседает комиссия.

– Простите, – сказал я. – Мне очень жаль.

Как легко мы верим, что условное сочувствие смывает любую обиду!

– Садитесь, – приказал он властью слез, и я повиновался. – Я думал. Вы были ее любовником?

– С чего вы взяли...

– Это единственное объяснение.

– Я не понимаю, о чем вы?

– И единственное оправдание, Бендрикс. Разве вы не видите, что ваш поступок... чудовищен?

Он вертел в руках шляпу, разглядывал фамилию шляпника.

– Наверное, вы думаете, какой я дурак, если сам не догадался. Почему она меня не бросила? Неужели надо объяснять ему, какая у него жена? Яд заработал снова. Я сказал:

– У вас хороший, верный доход. Она к вам привыкла. С вами надежнее.

...

Он слушал серьезно, внимательно, словно я – свидетель в его комиссии. Я злобно продолжал:

– Вы мешали нам не больше, чем другим.

– Были и другие?

– Иногда я думал, вы все знаете, вам все равно. Иногда хотел поговорить начистоту, вот как сейчас, когда уже поздно. Я хотел сказать, что о вас думаю.

– Что же вы думали?

– Что вы сводник. Свели ее со мной, свели с ними, теперь – с этим, последним. Вечно со всеми сводите. Почему вы не разозлитесь?

– Я не знал.

– Вот этим и сводили. Сводили тем, что не умели с ней спать, ей приходилось искать на стороне. Сводили тем, что не мешали... Тем, что вы зануда и дурак, а тот, кто не дурак и не зануда, сейчас с ней на Седар-роуд.

– Почему она вас оставила?

– Потому что я тоже стал скучным и глупым. Но я таким не был, Генри. Это вы сделали. Она не бросала вас, вот я и стал занудой, докучал ей жалобами и ревностью.

– Ваши книги многим нравятся, – сказал он.

– А про вас говорят, что вы государственный деятель. При чем тут наша работа? Такая ерунда...

– Разве? – сказал он, печально глядя на серую тучу. – Для меня это самое важное.

Человек, кормивший воробьев, ушел, ушла и женщина с пакетом, а продавцы фруктов кричали, как звери в тумане, у станции. Было так, словно опустили затемнение.

– То-то я удивлялся, что вы к нам не ходите, – сказал Генри.

– Наверное... наверное, мы дошли до конца любви. Нам больше нечего было делать вместе. С вами она могла стряпать, отдыхать, засыпать рядом, а со мной только одно – заниматься любовью.

– Она к вам очень хорошо относится, – сказал он, будто это я плачу и его дело – утешать.

– Этим сыт не будешь.

– Я был.

– А я хотел, чтобы она меня любила всегда, вечно... Никогда ни с кем, кроме Сары, я не говорил так, но ответил он по-другому, чем ответила бы она. Он сказал:

– Человеку это не свойственно. Надо смиряться... Сара не сказала бы так; и, сидя рядом с Генри в саду, глядя на гаснущий день, я вспоминал конец нашего романа.

Она сказала мне (это были чуть ли не последние ее слова до тех пор, пока она, вся мокрая, не вошла в свой дом со свидания), она сказала: «Ты не бойся, любовь не кончается. Если мы друг друга не видим...» Она уже все решила, но узнал я только назавтра, когда телефон молчал так, словно кто-то умер.

– Дорогой мой дорогой,– сказала она.– Люди ведь любят Бога, а не видят, правда?

– У нас не такая любовь.

– Иногда я думаю, другой не бывает.

Надо было понять, что кто-то влияет на нее, раньше она так не говорила. Когда-то мы радостно согласились, что в нашем мире Бога нет. Я светил ей фонариком, она шла по развороченному холлу и снова сказала:

– Все будет хорошо. Если мы очень любим.

– Куда уж больше,– сказал я.– Все тебе отдал.

– Ты не знаешь,– сказала она.– Не знаешь.

Стекло хрустело под ногами. Только викторианский витраж над дверью выдержал. Давленное стекло белело, как лед, который растоптали дети в сырых полях или у дорог, и она повторила:

– Не бойся.

Я понимал, что она имеет в виду не странные новые снаряды, которые и через пять часов упорно жужжали где-то на юге, словно пчелы.

Той ночью, в июне 1944-го, на нас впервые посыпались «фау-1». Мы отвыкли от бомбежек. Крупных не было с февраля 1941-го, и только недавно, в феврале, была одна, небольшая. Когда завывали сирены и появились снаряды, мы решили, что несколько самолетов прорвалось через противоздушный барьер. Если через час нет отбоя, становится не по себе. Помню, я сказал Саре: «Наверное, сирена разладилась, отвыкли». И тут в темноте с моей кровати мы увидели первый снаряд – он пролетел прямо над Коммон. Мы думали, это горящий самолет, а странно, глухо жужжит мотор без управления. Потом появился второй, потом – третий, и мы переменили мнение о зенитках. «Их же стреляют как голубей,– сказал я.– Они с ума сошли, если не уймутся». Но они не унялись, не унимались часами, даже когда рассвело, и тут мы поняли, что это не самолеты.

Когда объявили тревогу, мы только легли. Нам было все равно. Мы не думали о смерти в эти часы, поначалу я даже молил о ней – исчезнешь начисто, не надо будет вставать, одеваться, смотреть, как ее фонарик мелькает за окном, словно уезжает медленная машина. Я думал иногда: не продолжает ли вечность самый миг смерти? Если это так, я охотно умер бы в миг полного доверия и полной радости, когда невозможно поссориться, ибо невозможно думать. Я жалею на ее осторожность, я горько сравниваю наш «лук» с тем, что написала она на клочке, который раздобыл Паркис, но я бы меньше завидовал неведомому преемнику, если бы не знал, как умеет она забыться. «Фау-1» не беспокоили нас, пока мы не пришли в себя. Опустошенный вконец, я лежал головой на ее животе, ощущая во рту неуловимый, словно вода, вкус ее кожи, когда снаряд взорвался совсем рядом и мы слышали, как здесь, на южной стороне, посыпались стекла.

– Надо бы в подвал,– сказал я. – Там твоя хозяйка. Не могу я видеть чужих. В такую минуту приходит нежность ответственности, и ты забываешь, что ты – только любовник, не отвечающий ни за что. Я сказал:

– Может, ее и нет. Пойду посмотрю.

– Не ходи,– сказала Сара.– Пожалуйста, не ходи.

– Я на минутку.

Мы говорили так, хотя и знали, что минутка может обратиться в вечность. Я надел халат, взял фонарик. Он не был мне нужен, небо уже посерело, и я видел в полумраке Сарино лицо.

Она сказала:

– Ты поскорей.

Сбегая по ступенькам, я услышал жужжание, потом наступила тишина. Мы еще не знали,

что это самое опасное, тут надо быстро ложиться, и подальше от стекол. Взрыва я так и не слышал, а через пять секунд или через пять минут очнулся в другом мире. Я думал, что я стою, и удивился, почему так темно. Кто-то вдавливал мне в щеку холодный кулак, во рту было солоно. Сперва я ощутил только усталость, словно я долго шел. О Саре я не помнил, ничего не боялся, не сомневался, не ревновал, не испытывал ненависти – разум мой стал белым листом бумаги, на котором кто-то сейчас написал весть о радости. Я был уверен, что память вернется, а весть останется, я буду счастлив.

Но память вернулась иначе. Сначала я понял, что лежу на спине, а надо мной, закрывая свет, висит входная дверь, какие-то обломки держат ее чуть повыше моего тела. Как ни странно, потом оказалось, что я весь в ссадинах, словно меня ранила ее тень. В щеку впивалась фарфоровая ручка, она и выбила два зуба. Тут я вспомнил Сару и Генри и страх, что кончится любовь.

Я вылез из-под двери и отряхнулся. Я крикнул, но в подвале никого не было. Сквозь разбитую дверь я видел серый утренний свет, за порогом было как-то слишком пусто – и я понял, что исчезло большое дерево, да так, что и ствола не осталось. Довольно далеко дежурные свистели в свистки. Я пошел вверх. Первый пролет был усыпан штукатуркой, перила обваливались, но дом, по тогдашним понятиям, не слишком пострадал, удар пришелся по соседнему. У меня была распахнута дверь, я из коридора увидел Сару, скорчившуюся на полу, и подумал, что это от страха. Она была до нелепости юной, как голая девочка. Я сказал:

– Рядом упало.

Она быстро обернулась и испуганно воззрилась на меня. Я не знал, что халат в клочьях, весь белый от штукатурки, и волосы белые, а лицо в крови.

– О Господи! – сказала она. – Ты живой.

– Ты как будто разочарована.

Она встала и пошла туда, где лежала одежда. Я сказал:

– Зачем уходить сейчас? Скоро отбой.

– Мне надо идти, – сказала она.

– Две бомбы не падают в одно место, – сказал я машинально, ибо знал, что это просто поверье.

– Ты ранен.

– Два зуба выбило, вот и все.

– Иди, я тебя умою.

Она оделась раньше, чем я успел возразить ей, – в жизни не видел женщины, которая бы так быстро одевалась, – и медленно, бережно умыла меня.

– Что ты делала на полу? – спросил я.

– Молилась.

– Кому это?

– Чему-то, что, может, и есть.

– Лучше бы пошла вниз.

Меня пугала такая серьезность. Я хотел раздражить Сару.

– А я ходила, – сказала она. Не слышал.

– Там никого не было. Я тебя не видела, пока не заметила руку. Я думала, ты убит.

– А ты бы проверила.

– Я хотела проверить. Дверь не могла поднять.

– Там был зазор. Она меня не придавила.

– Никак не пойму. Я точно знала, что ты мертвый.

– Тогда и молиться не о чем, верно? – дразнил я ее. – Разве что о чуде.



– Когда надежды нет,– сказала она,– и о чуде помолитесь. Чудеса ведь бывают у несчастных, а я была несчастна.

– Не уходи до отбоя.

Она покачала головой и вышла из комнаты. Я проводил ее вниз и, сам того не желая, стал дожимать ее:

– Сегодня придешь?

– Нет, не могу.

– А завтра?..

– Генри вернется.

Генри, Генри, Генри – это имя вечно мешало радоваться, или смеяться, или любить, напоминая, что любовь смертна, что побеждают привычка и привязанность.

– Ты не бойся,– сказала она,– любовь не кончается... И почти два года прошло, пока я не встретил ее и она не вскрикнула: «Вы?»

После этого я, конечно, еще надеялся. Когда не отвечал телефон, я думал, что это случайность; когда же через неделю я встретил служанку и узнал, что Майлзы уехали куда-то в деревню, я сказал себе, что в военное время письма часто теряются. Утро за утром слышал я, как кладут почту в ящик, и нарочно сидел наверху, пока все не принесет хозяйка. Письма я не разбирал, откладывал разочарование, берег надежду. Я читал их по порядку и, только дойдя до последнего, убеждался, что от Сары ничего нет. Потом я кое-как жил до четырехчасовой почты, и все, опять начиналась ночь.

Почти неделю я не писал ей из гордости, но как-то утром, оставив все это, написал сердитое, тревожное письмо с пометкой «Срочно! Перешлите, пожалуйста». Ответа не было, и тут я потерял надежду и вспомнил в точности, что она сказала: «Люди ведь любят Бога, а не видят». Я с ненавистью думал: «Всегда ей надо хорошо выглядеть в зеркале. Она смешивает веру с предательством, чтобы казаться себе благородной. Не хочет просто признать, что теперь ей больше нравится спать с Х».

Это время было хуже всего. Ремесло мое – воображать, думать образами; пятьдесят раз на дню и ночью, как только я проснусь, занавес поднимался, начиналась пьеса, все одна и та же – Сара в постели, Сара с этим Х делала то же самое, что делали мы с ней. Она целовала его на свой, особый манер, изгибалась, кричала, как от боли, забывала себя. Я принимал таблетки, чтобы сразу заснуть, но не нашел таких, от которых бы я спал до утра. Одни лишь «фау» отвлекали меня – несколько секунд, от тишины до взрыва, я не думал о Саре. Через три недели образы ничуть не померкли, им не было конца, и я начал всерьез размышлять о самоубийстве. Я даже назначил число и стал с какой-то надеждой копить таблетки. «В сущности,– думал я,– так жить незачем». День настал, я отложил задуманное, игра тянулась и тянулась. Не трусость, а память останавливала меня – я вспоминал, как разочарована была Сара, когда я вошел после взрыва в комнату. Наверное, она надеялась, что я умер,– тогда не так совестно крутить любовь с этим Х, ведь есть же у нее элементарная совесть... Если я убью себя, ей будет незачем беспокоиться, а так – беспокоится же она, хоть когда-то. Я не собирался облегчать ей жизнь. Я бы хотел, чтобы она мучилась как можно сильнее, но не знал, что для этого сделать, и еще больше злился. Я ненавидел ее.

Однако у ненависти есть конец, как есть конец у любви. Через полгода я заметил, что не думал о Саре целый день и неплохо себя чувствовал. Это был еще не конец – я купил открытку и хотел написать что-нибудь такое, чтобы причинить хоть мгновенную боль; но когда я вывел адрес, причинять боль мне расхотелось, и я бросил открытку на тротуар. Странно, что ненависть ожила, когда я встретил Генри. Помню, распечатывая новый отчет, я подумал: «Если бы так ожила любовь...»

Паркис поработал на славу, квартиру узнал – на верхнем этаже, живет в ней мисс Смитт с братом Ричардом. Я подумал: «Так ли удобна сестра, как был удобен муж?» – и весь мой скрытый снобизм разыграл при такой фамилии, через два "т", подумать только! «Неужели, – возмущался я, – она докатилась до этого?» Кто он, последний из любовников, с которыми она была эти два года, – или, когда я его увижу (а я твердо решил убедиться во всем сам), передо мной будет тот, к кому она ушла от меня в июне 1944-го?

– Позвонить мне и войти, как оскорбленному супругу? – спросил я Паркиса, который назначил свидание в кондитерской, потому что не мог повести мальчика в бар.

– Нет, сэр, не надо, – сказал он, накладывая в чай сахар. Мальчик сидел подальше, за столиком, пил оранжад и ел пышку. Он разглядывал всех, кто войдет. Люди отряхивали мокрый снег с пальто и шляп, а он смотрел на них острыми карими глазами, словно собирался писать отчет. Может, так и было, он же учился у отца. Тот говорил:

– Понимаете, сэр, если вы хотите давать показания, это осложнит дело.

– До суда не дойдет.

– Порешите миром?

– Нечего решать, – сказал я. – Нельзя волноваться из-за человека по фамилии Смитт. Просто хочу на него поглядеть, вот и все,

– Лучше всего сказать, что проверяете счетчик.

– Не могу я надеть форменную фуражку.

– Понимаю, сэр. Я тоже таких вещей избегаю. И хотел бы, чтоб мальчик избегал, когда подрастет. – Он следил печальным взором за каждым движением сына. – Он просил мороженого, сэр, но я отказал, холодно. – И он вздрогнул, словно бы от одной мысли. Я не сразу понял, что он имеет в виду, когда он добавил: – У каждого дела своя честь.

– Вы не отпустите сына со мной? – спросил я.

– Если вы пообещаете, сэр, что ничего дурного не будет, – неуверенно ответил он.

– Я не хочу заходить, когда миссис Майлз там.

– При чем тут мальчик, сэр?

– Я скажу, ему стало плохо. Мы спутали адрес. Им придется пустить его ненадолго.

– Это он может, – гордо сказал Паркис. – Перед Лансом никто не устоит.

– Его зовут Ланс?

– Ланселот, сэр. Как рыцарь Круглого Стола.

– Удивительно! Такой неприятный эпизод...

– Этот рыцарь нашел Грааль, сэр.

– Нет, то Галахад. Ланселота застали с Гиневрой. Почему нам хочется дразнить невинных? Из зависти? Паркис печально проговорил, глядя на сына так, словно тот его предал:

– Не слышал...

На следующий день, вопреки воле отца, я купил мальчику мороженое по дороге к Седар-роуд. У Генри были гости, так сообщил Паркис, и я мог не беспокоиться. Паркис вручил мне сына, почистив его как следует. Тот был в самом лучшем, он ведь впервые выходил на сцену вместе с клиентом, а я – в самом худшем. Земляничное мороженое упало ему на пиджак, получилось пятно. Я сидел тихо, пока он не съел все до капли, потом спросил:

– Еще порцию? Он кивнул.

– Земляничного?

– Ванильного, – ответил он, и прибавил: – Пожалуйста. Вторую порцию он ел осторожно, облизывал ложку, словно удалял отпечатки пальцев. Я взял его за руку, и мы пошли на Седар-роуд как отец с сыном. «Ни у меня, ни у Сары нет детей, – думал я. – Разве семья, дети, тихая, скучная жизнь не лучше вороватой похоти, и ревности, и этих доносов?»

Я нашел звонок верхней квартиры и сказал мальчику:

– Помни, тебе худо.

– Если они мне дадут мороженое... – начал он. Паркис научил его прикидывать заранее.

– Не дадут.

Видимо, двери открыла мисс Смитт, женщина средних лет с седыми тусклыми волосами, как на благотворительных базарах. Я спросил:

– Мистер Уилсон тут живет?

– Нет. Простите, вы, наверное...

– Вы часом не знаете, он не на первом этаже?

– Здесь никакого Уилсона нет.

– О Господи! – сказал я. – Тащил мальчика в такую даль, ему худо... На мальчика я взглянуть не решался, но мисс Смитт смотрела так, что я знал: тихо и верно он исполняет свою роль. Мистер Сэвидж был бы рад принять его в свою команду.

– Пускай зайдет посидит, – сказала она.

– Спасибо вам большое.

Думал я о том, часто ли Сара входила в эту тесную переднюю. Я был у Х. Наверное, коричневая шляпа на вешалке принадлежала ему. Его пальцы – те пальцы, которыми он трогал Сару, – каждый день поворачивали эту ручку, открывали дверь, за которой желтым пламенем горел газ, лампы под розовыми абажурами светили сквозь снежно-серый сумрак, стоял диван в ситцевом чехле.

– Дать вашему сыну воды? – спросила мисс Смитт.

– Спасибо вам большое.

Я вспомнил, что уже говорил это.

– Может, апельсинового соку?

– Не беспокойтесь.

– Соку, – твердо сказал мальчик, подумал и прибавил: – Пожалуйста.

Она вышла. Мы остались одни, и я на него взглянул. Он скрючился на диване и в самом деле выглядел плохо. Если бы он не подмигнул мне, я бы подумал, что... Мисс Смитт принесла сок, я сказал:

– А где спасибо, Артур?

– Его зовут Артур?

– Артур Джеймс.

– Какое старинное имя!

– У нас старомодная семья. Его мать обожала Теннисона.

– Она?..

– Да, ее нет.

Мисс Смитт с состраданием посмотрела на мальчика.

– Наверное, он очень утешает вас.

– И беспокоит, – сказал я. Мне становилось стыдно – она всему верила. Зачем я пришел? Этого Х я навряд ли увижу, и стану ли я счастливей, если встречу с ним лицом к лицу? Я изменил тактику.

– Надо мне представиться, – сказал я. – Бриджес.

– Смитт.

– Мне кажется, я вас где-то видел.

– Навряд ли. У меня память на лица.

– Может быть, на Коммон?

– Да, я там бываю с братом.

- Не Джон ли Смитт?
- Нет, Ричард. Как мальчику, лучше?
- Хуже, – сказал Паркис-младший.
- Температуру измерить не хотите?
- А можно мне еще соку?
- Это ведь не повредит? – сказала она. – Бедный мальчик. Наверное, простудился.
- Мы и так вас замучили.
- Брат никогда не простил бы, если бы я вас не пригласила. Он очень любит детей.
- Он дома?
- Вот-вот придет.
- С работы?
- Вообще-то он работает по воскресеньям...
- Священник? – не без ехидства спросил я и с удивлением услышал:
- Не совсем.

Какая-то озабоченность разделила нас, словно занавес, и за ним осталась мисс Смитт со своими домашними делами. Тут входная дверь открылась и вошел Х. В полумраке передней он показался мне красивым, как актер (такие люди часто смотрятся в зеркало), и пошловатым. Я подумал, печально, совсем без злорадства: «Какой же у нее плохой вкус...» Смитт вошел в круг света; на щеке его, как знак отличия, багровели огромные пятна. Я был к нему несправедлив, навряд ли он смотрелся в зеркало.

Мисс Смитт сказала:

– Мой брат Ричард. Мистер Бриджес. У мистера Бриджеса сыну плохо. Я их пригласила зайти.

Он пожал мне руку, глядя на мальчика. Рука была сухая, горячая.

- Вашего сына я видел, – сказал он.
- На Коммон?
- Вполне возможно.

Он был слишком властен для этой комнаты, он не подходил к ситцу. Интересно, сестра тут и сидит, когда они в другой комнате, или ее куда-нибудь отсылают?

Ну вот, я его увидел. Остаться было незачем... Но возникли новые вопросы. Где они познакомились? Кто заговорил первым? Что она в нем нашла? Как давно, как часто они друг с другом? Я знал наизусть ее слова «...только начинаю любить, но мне надо отдать все и всех, кроме тебя», и смотрел на пятна, и думал, что защиты нет – у горбуна, у калеки есть то, что приводит в действие любовь.

– Зачем вы сюда пришли? – вдруг спросил он.

– Я говорил мисс Смитт, мой знакомый, Уилсон...

– Я не помню вас, но помню вашего сына. Он протянул и убрал руку, словно хотел коснуться мальчика. Глаза у него были какие-то отрешенно-ласковые.

– Не бойтесь меня, – сказал он. – Я привык, что сюда ходят. Поверьте, я хочу помочь вам.

Мисс Смитт объяснила:

– Люди часто робеют.

Я уже совершенно ничего не понимал.

– Один мой знакомый, Уилсон...

– Вы знаете, что я знаю, что никакого Уилсона нет.

– Если вы мне дадите книгу, я найду его адрес.

– Садитесь, – сказал он, невесело глядя на мальчика.

– Да я пойду. Артуру получше, а Уилсон... Я ничего не понимал, мне было не по себе.

– Идите, если хотите, а мальчика оставьте тут... на полчаса, хорошо? Я бы с ним поговорил.

Мне пришло в голову, что он узнал его и хочет допросить.

– Что ж говорить с ним? Спрашивайте меня.

Всякий раз, как он поворачивался чистой щекой, я злился, увидев больную – затихал и ничему не верил, как не верил, что здесь, рядом с этим ситцем, рядом с мисс Смитт, может существовать вождение. Но отчаяние всегда найдет слова, и оно спросило: «А что, если это не вождение, а любовь?»

– Мы слишком взрослые, – сказал он. – Его учителя и священники только начали портить ложью.

– Ни черта не понимаю, – сказал я и быстро прибавил: – Простите, мисс Смитт.

– Вот, вот! – сказал он. – Помянули черта. Могли бы сказать: «О Господи!»

Я решил, что он шокирован. Может быть, он нонконформист-священник, она же сказала: работает по воскресеньям. Как странно, однако, что Сара связалась с таким! Она как будто стала не так важна, ведь роман ее -анекдот какой-то, и над ней можно посмеяться где-нибудь в гостях. На секунду я от нее освободился. Мальчик сказал:

– Мне плохо. Можно еще соку попить?

– Нет, надо его уводить, – сказал я. – Спасибо вам большое. – Я старался не терять пятен из виду. – Простите, если я вас обидел. Я не хотел. Понимаете, я не разделяю ваших религиозных взглядов...

Он удивленно посмотрел на меня.

– Каких взглядов? Я ни во что не верю.

– Мне показалось...

– Я ненавижу эти ловушки. Простите, я захожу слишком далеко, но иногда я боюсь, что даже пустые, условные слова напомнят – скажем, «спасибо». Если бы я был уверен, что для моего внука слово «Бог» как слово на суахили!

– У вас есть внук?

– У меня нет детей, – мрачно сказал он. – Я вам завидую. Великий долг, великая ответственность!

– О чем вы хотели его спросить?

– Я хотел, чтобы он чувствовал себя как дома. Он ведь может вернуться. Столько всякого надо сказать ребенку... Как возник мир. И о смерти. Вообще, освободить от всей лжи, которой заражают в школе.

– За полчаса не успеешь.

– Семя посеять можно.

Я коварно сказал:

– Да, как в Евангелии.

– Ах, и я отравлен, сам знаю.

– Люди и правда приходят к вам?

– Вы и не представляете, – сказала мисс Смитт. – Людям так нужна надежда.

– Надежда?

– Да, – сказал Смитт. – Разве вы не видите, что было бы, если бы все узнали, что есть только вот это, здешнее? Ни загробных воздаяний, ни мук, ни блаженства. – Когда та щека не была видна, лицо его становилось каким-то возвышенным. – Мы создали бы рай на земле.

– Сперва надо многое объяснить, – сказал я.

– Показать вам мои книги?

– У нас самая лучшая атеистическая библиотека на весь южный Лондон, – пояснила мисс

Смитт.

– Меня обращать не надо. Я и сам ни во что не верю. Разве что иногда...

– Это самое опасное.

– Странно то, что именно тогда я надеюсь.

– Гордость притворяется надеждой. Или себялюбие. – Нет, навряд ли. Это накатывает внезапно, без причин. Услышишь запах...

– А! – сказал Смитт. – Строение цветка, часы, часовщик... Знаю этот довод. Он устарел. Швениген опроверг его двадцать пять лет назад. Сейчас я докажу вам...

– Потом. Мне надо отвести домой мальчика.

Он снова протянул и убрал руку, словно отвергнутый любовник. Я вдруг подумал, сколько умирающих прогоняло его. Мне захотелось тоже дать ему надежду, но он повернулся, и я увидел только наглое, актерское лицо. Он больше нравился мне жалким, нелепым, старомодным. Теперь в моде Айер, Рассел, но я сомневался, много ли в его библиотеке логических позитивистов. Он любил воителей, а не разумных.

В дверях я сказал его чистой щек:

– Вас надо познакомить с моей приятельницей, миссис Майлз. Она как раз интересуется... – и остановился. Выстрел попал в цель. Пятна побагровели (он быстро отвернулся), и я услышал голос мисс Смитт:

– О Господи!

Да, я причинил ему боль – но и себе. Теперь я жалел, что не промазал. На улице мальчика вырвало в канаву. Я стоял рядом и думал: «Неужели он ее потерял? Неужели этому нет конца? Что ж мне, искать?»

Паркие сказал:

– Это было совсем просто, сэр. Пришло столько народу, миссис Майлз думала, я из его сослуживцев, а он – что я из ее друзей.

– Хорошо там было? – спросил я, вспомнив снова, как я в первый раз был у них и как целовала она кого-то в передней.

– Прекрасный прием, сэр, только миссис Майлз немножко не по себе. Очень сильно кашляет.

Я слушал с удовольствием – быть может, хоть тут не целовались и не обнимались. Он положил мне на стол пакет и гордо сказал:

– Служанка говорила мне, как к ней пройти. Если бы меня заметили, я бы спросил, где туалет. Вот, из стола взял, наверное, она в тот день писала. Может, она и не все напишет – осторожность, сэр, но я с дневниками работал, в них всегда что-нибудь найдешь. Выдумывают свой шифр, его разобрать нетрудно. Или что-то пропускают, догадаться тоже легко. – Пока он говорил, я развернул дневник и открыл. – Такие уж мы люди, сэр, – если ведешь дневник, хочешь все запомнить. А то зачем его вести?

– Вы его читали? – спросил я.

– Раскрыл, сэр, проверил. Сразу понял, что она не из осторожных.

– Он не за этот год, – сказал я, – за позапрошлый. Он на секунду опешил.

– Мне подойдет, – сказал я.

– Да, сэр, он сгодится... если считать уликой все изменения. Дневник она вела в большой счетной книге, знакомые смелые буквы не считались с красными и синими линейками. Писала она не каждый день, и я успокоил Паркиса:

– Тут за несколько лет.

– Наверное, она зачем-то вынула его, почитать. «Может быть, – подумал я, – в этот самый день она меня вспомнила, что-то ее обеспокоило?»

– Спасибо,– сказал я.– Очень хорошо. Собственно, на этом и кончим.

– Надеюсь, вы довольны, сэр.

– Вполне.

– Вы напишите мистеру Сэвиджу. Клиенты пишут жалобы, а вот похвалить не похвалят.

Если клиент доволен, он норовит все забыть, как нас и не было. Что ж, оно понятно.

– Я напишу.

– И еще спасибо за мальчика, сэр. Он немножко прихворнул, но я-то знаю, как это, когда он хочет мороженого. Прямо выбивает из вас.

Я думал только о дневнике, но Паркие не уходил. Может, он не верил, что я не забуду, напишу в контору, и давил на мою память этим собачьим взглядом, этими жалкими усами.

– Очень рад был сотрудничать с вами, сэр, если можно тут говорить о радости. Не всегда работаешь для джентльменов, даже когда клиент с титулом. Был у меня один лорд, он страшно рассердился, когда я дал ему свой отчет, как будто это я виноват. Трудно с такими, сэр. Чем больше сделаешь, тем больше они хотят от тебя избавиться.

Я очень хотел от него избавиться и устыдился. Нельзя же его гнать! Он сказал:

– Простите, сэр, хотел бы я вам сделать подарочек на память, но вы ведь не примете.

Как странно, когда тебя любят! Не захочешь, а чувствуешь ответственность. И я солгал ему:

– Мне было с вами очень приятно.

– А началось плохо, сэр. Я так глупо ошибся.

– Вы мальчику сказали?

– Да, сэр, только не сразу, после корзинки. Это большой успех, ему легче было.

Я посмотрел вниз, прочел: «Так хорошо. М. завтра приедет»,– и не сразу понял, кто такой "М". Странно, непривычно думать, что тебя любили, что день был счастливым или несчастным, смотря по тому, здесь ли ты.

– Если б вы приняли, сэр...

– Что вы, Паркие!

– Очень занятная вещица, сэр, и полезная.

Он вынул из кармана что-то завернутое в папиросную бумагу и робко подвинул ко мне. Я развернул и увидел дешевую пепельницу с надписью:

«Отель „Метрополь“, Брайтлингси».

– Это целая история, сэр,– сказал он.– Помните дело Болтон?

– Не совсем.

– Большой шум был, сэр. Леди Болтон, горничная и мужчина. Всех застали вместе. Пепельница стояла возле кровати. С той стороны, где леди Болтон.

– У вас, наверное, целый музей.

– Надо бы отдать мистеру Сэвиджу, он особенно интересовался этим делом, но сейчас я рад, что не отдал. Друзья ваши будут спрашивать, почему такая надпись, а вы им и ответите: «Дело Болтон». Тогда они захотят узнать, как и что.

– Поразительно!

– Таков человек, сэр, такова любовь. Хотя я-то удивился. Не думал, что их трое. И номер маленький, бедный. Миссис Паркис была еще жива, но я не хотел ей рассказывать. Она очень огорчалась.

– Буду хранить,– сказал я.

– Если бы пепельница умела говорить, сэр!

– Вот именно.

Даже Паркис не мог ничего прибавить к этой глубокой мысли. Мы пожали друг другу руки (у него ладонь была липкая – наверное, общался с Лансом), и он ушел. Он был не из тех, кого

хочется увидеть снова. Я открыл Сарин дневник. Сперва я думал посмотреть тот июньский день, когда все кончилось, но потом понял, что узнаю точно из других записей, как же исчезла ее любовь. Я относился бы к дневнику как к свидетельству в деле – одном из дел Паркиса, – но не хватало спокойствия: я увидел совсем не то, чего ждал. Ненависть, подозрительность, зависть далеко завели меня, и я читал ее слова так, словно в любви объяснялся кто-то чужой. Я ждал улики против нее – разве не ловил я ее на лжи? – и вот передо мною лежал ответ, которому я мог поверить, хотя не верил ее голосу. Сначала я прочитал последние две страницы, в конце перечитал их для верности. Странно узнать и поверить, что тебя любят, тогда как сам ты знаешь, что любить тебя могут только родители да Бог.



...ничего не осталось, кроме Тебя. Ни у кого из нас. Я ведь могла бы всю жизнь крутить романы. Но уже тогда, в первый раз, в Паддингтоне, мы растратили все, что у нас было. Ты был там, Ты учил нас не скупиться, как богатого юношу, чтобы когда-нибудь у нас осталась только любовь к Тебе. Но Ты ко мне слишком добр. Когда я прошу боли. Ты даешь мир. Дай и ему. Дай ему, забери от меня, ему нужнее!

12 февраля 1946.

Два дня назад мне было так хорошо, так спокойно. Я знала, что снова буду счастлива, но вот вчера видела во сне, что иду по длинной лестнице к Морису. Я еще радовалась – я знала, что, когда я дойду, мы будем любить друг друга, – и крикнула, что сейчас приду, но ответил чужой голос, гулкий, как сирена в тумане. Я решила, что Морис переехал, и теперь неизвестно, где он, пошла вниз, но почему-то оказалась по грудь в воде, и в холле был густой туман. Тут я проснулась. Мир и покой исчезли. Я не могу без Мориса, как тогда. Я хочу есть с ним вместе сэндвичи. Я хочу пить с ним у стойки. Я устала, я больше не хочу страдать. Мне нужен Морис. Мне нужна простая, грешная любовь. Господи, дорогой мой, я бы хотела, чтобы мне хотелось страдать, как Ты, но не сейчас. Забери это ненадолго, дай попозже.

После этого я стал читать с начала. Она писала не каждый день, и я не хотел читать все записи. Ходила с Генри в театр, в ресторан, в гости – нет, эта жизнь, неизвестная мне, еще слишком меня мучила.

12 июня 1944.

Иногда я устаю убеждать, что я его люблю и буду всегда любить. Он придирается к каждому слову, как в суде, все переиначивает. Я знаю, он боится пустыни, в которой окажется, если мы разлюбим друг друга, и никак не поймет, что я тоже очень боюсь. То, что он говорит вслух, я говорю про себя, пишу здесь. Что построишь в пустыне? Когда мы бывали с ним много раз на дню, я думала иногда, можно ли исчерпать это совсем, и он, конечно, тоже об этом думает и боится той точки, с которой начинается пустыня. Что нам делать там, если мы друг друга потеряем? Как после этого жить?

Он ревнует к прошлому, и к настоящему, и к будущему. Его любовь как средневековый пояс целомудрия: ему спокойно только тогда, когда он тут, со мной, во мне. Если бы я могла его успокоить, мы бы любили друг друга спокойно, счастливо, а не как-то дико, и пустыня бы исчезла. Может, и навсегда.

Если веришь в Бога, есть ли эта пустыня?

Я всегда хотела, чтобы меня любили, чтобы мной восхищались. Я так теряюсь, когда на меня сердятся, когда со мной ссорятся. Я не хочу поссориться и с мужем. Я хочу, чтобы у меня было все, всегда, везде. Я боюсь пустыни. В церкви говорят. Бог – это все, и Он нас любит. Тем, кто в это верит, восхищения не надо, им не надо ни с кем спать, им спокойно. Но я не могу выдумать веры.

Морис целый день был добрым со мной. Он часто говорит, что никого так не любил. Он думает, если это все время повторять, я поверю. А я верю просто потому, что люблю его точно так же. Если бы я его разлюбила, я бы не верила, что он меня любит. Если бы я любила Бога, я бы поверила, что Он любит меня. Нуждаться в этом – мало. Сначала надо полюбить, а я не знаю как. Но я нуждаюсь в этом, очень нуждаюсь.

Он был добрым целый день. Только один раз стал глядеть куда-то, когда я упомянула мужское имя. Он думает, я сплю с другими, а если бы и спала, так ли это важно? Если он иногда

с кем-то спит, я же не жалуясь. Я бы не стала лишать его спутников в пустыне. Иногда мне кажется, тогда он и воды мне не даст. Он бы хотел, чтобы я была совсем одна, совершенно одна, как отшельник, хотя они-то никогда одни не бывали,— во всяком случае, так о них пишут. Ничего не пойму. Что мы делаем друг с другом? Я ведь знаю, что делаю с ним точно то же, что он со мной. Иногда мы так счастливы – и никогда такими несчастными не были. Словно мы создаем одну и ту же статую, я – из его боли, он – из моей. Но я даже не знаю, какой она должна быть.

17 июня 1944.

Вчера я пошла к нему, и мы делали то же, что всегда. Не могу об этом писать, а хотела бы, ведь сейчас уже другой день, а я боюсь расстаться с тем, вчерашним. Пока я пишу это, еще сегодня, и мы еще вместе.

Когда я ждала его, тут у нас выступали всякие люди – лейборист, и коммунист, и просто шутник какой-то, и еще один человек ругал христианство. Общество южнолондонских рационалистов или что-то в этом роде. Он красивый, только пятна по всей щеке. Его почти никто не слушал, никто не спрашивал. Он ругал то, что и так кончилось, и я все удивлялась, зачем он старается. Я постояла, послушала – он спорил против доказательств бытия Божьего. Не знала, что они есть,— разве вот это, что я чувствую, когда мне страшно одной.

Я испугалась, а вдруг Генри передумал и прислал телеграмму, что едет домой? Никогда не знаю, чего я больше боюсь – что я расстроюсь или что Морис расстроится. И тогда, и тогда выходит одно и то же, мы ссоримся. Я сержусь на себя, он – на меня. Я пошла домой, телеграммы не было, Морис ждал лишних десять минут, я рассердилась, что он там сердится, а он вдруг был очень добрый.

Мы никогда не бывали вместе так долго, а еще впереди была ночь. Мы купили салату, булочек, выкупили по карточкам масло – много есть мы не хотели, было очень тепло. Сейчас тоже тепло, все скажут: «Ах, какое лето!» – а я еду в деревню, к Генри, и все навсегда кончилось. Мне страшно – это и есть пустыня, вокруг никого, ничего, на много миль. Если бы я осталась в Лондоне, меня могли бы быстро убить, но в Лондоне я бы пошла и набрала единственный номер, который я знаю наизусть. Я часто забываю свой -наверное, Фрейд сказал бы, что я его хочу забыть, потому что это еще и номер Генри. Но я Генри люблю, я желаю ему счастья. Я только сегодня его не люблю, потому что он счастлив, а мы с Морисом – нет, и он об этом не узнает. Он скажет, что у меня усталый вид, и решит, что это обычные дела, ему теперь не нужно считать, когда они.

Сегодня завыли сирены – то есть, конечно, вчера, но какая разница? В пустыне времени нет. Но я могу из пустыни уйти, когда захочу. Могу сесть завтра в поезд, поехать домой, позвонить ему – Генри, наверное, в город не поедет, и мы проведем вместе ночь. Обет – еще не самое главное, да и дала я обет кому-то, кого толком не знаю, в кого не верю. Никто и не узнает, что я его нарушила, только я и Он, а Его нет, ведь нет же? Не может Его быть. Не могут быть и милостивый Бог, и это мучение.

Если я вернусь, что с нами будет? То же самое, что было вчера, пока сирены не завыли, и год назад. Мы будем сердиться друг на друга, боясь конца и гадая, что нам делать, как жить, когда ничего не останется. Теперь мне гадать не надо. больше бояться нечего. Вот он, конец. Господи, дорогой, что же мне делать, я хочу любить!

Почему я пишу «дорогой»? Он мне совсем не дорог. Если он есть, это он внушил мне такую мысль, и я его за это ненавижу. Ненавижу. Каждые пять минут мимо проплывает серая каменная церковь или кабачок. В пустыне очень много кабаков и церквей. И пабов, и мужчин на велосипедах, и травы, и коров, и фабричных труб. Глядишь на них сквозь песок, как рыба в аквариуме – сквозь воду. И Генри ждет в аквариуме, чтобы я его поцеловала.

Мы не обращали на sireны внимания. Какое нам до них дело? Мы никогда не боялись так умереть. Но бомбежка все не кончалась. Она какая-то особенная - в газетах писать нельзя, но все это знают. Что-то новое, нас давно предупреждали. Морис пошел вниз посмотреть, есть ли к-пу в убежище - он за меня боялся, а я - за него. Я знала, что-то случится.

Не прошло и двух минут, как на улице раздался взрыв. Его комната - сзади, ничего не случилось, только посыпалась штукатурка и дверь открылась, но он-то был внизу, у выхода. Я пошла вниз, лестница была вся в обломках, в мусоре, холл совсем засыпало. Сперва я не увидела Мориса, потом увидела руку под дверью. Я ее тронула, она была мертвая. Когда люди так связаны, им не скрыть, если кто из них целует без нежности, - мне ли не различить, живая рука или нет? Я знала, если я возьму ее, я ее выну из-под двери, саму руку. Теперь я понимаю, что это была истерика. Он ведь не умер. Разве можно держать слово, если ты дала его в истерике? Что ты нарушишь тогда? Я и сейчас в истерике, когда пишу. Никому и никогда не могу я сказать, что мне плохо; спросят почему, пристанут, и я сдамся. Мне нельзя сдаваться, я должна беречь Генри. А, ладно, черт с ним! Пусть кто-нибудь примет всю правду про меня и не нуждается в моей помощи. Вот кто мне нужен. Я потаскуха и врунья, неужели никто таких не любит?

Я опустилась на колени - с ума, наверное, сошла, я и в детстве такого не делала, родители молились не больше, чем я. Я не знала, что сказать. Морис умер. Души нет. Даже то жалкое счастье, которое я ему давала, вытекло из него, как кровь. Больше он счастливым не будет, ни с кем. Кто-то, наверное, сделал бы его счастливей, чем я могла, но теперь - все. Стоя на коленях, я положила голову на кровать и подумала, как хорошо бы верить. «Господи, дорогой, - сказала я (нет, почему „дорогой“?), - сделай так, чтобы я в Тебя поверила. Я не умею. Помогите. Я потаскуха и врунья, я себя ненавижу. Я ничего не могу с собой сделать. Сделай Ты!» Я зажмурилась покрепче, вонзила ногти в ладони, чтобы ничего не чувствовать, кроме боли, и сказала: «Я хочу верить. Оживи его, и я поверю. Дай ему еще попробовать. Пусть будет счастлив. Сделай это, и я поверю». Но этого было мало. Верить не больно. И я сказала: «Я его люблю, и я сделаю, что хочешь, если он будет жив». Я говорила очень медленно: «Я брошу его навсегда, только оживи, дай попробовать», - и вонзала ногти, и вонзала, проколола кожу, и сказала еще: «Можно любить друг друга и не видеть, правда, Тебя ведь любят всю жизнь и не видят», - и тут он вошел, он был жив, и я подумала: «Теперь надо жить без него, начинается горе», - и захотела, чтобы он снова лежал мертвый под дверью.

9 июля 1944.

Сели с Генри в поезд, 8.30. Первый класс, пустое купе. Генри читал вслух отчет Королевской комиссии. Схватила такси у Паддингтона, Генри вышел у министерства. Обещал к ночи прийти домой. Таксист ошибся, повез меня на южную сторону, к дому 14. Дверь починили, окна заделали досками. Страшно быть мертвой. Каждому хочется жить. У нас, на северной стороне, лежали старые письма, их не пересылали, я просила ничего не пересылать. Каталоги, счета, конверт с надписью «Срочно! Перешлите пожалуйста». Я чуть не вскрыла его, не посмотрела, жива ли я еще, - и порвала вместе с каталогами.

10 июля 1944.

Я подумала, я не нарушу слово, если случайно встречу Мориса, и вышла после завтрака, и после ленча, и под вечер; и все ходила, но его не встретила. После шести я выйти не могла - у Генри гости. Снова выступали какие-то люди, как тогда, в июне, человек с пятнами ругал христианство" никто не слушал. Я подумала: «Если бы он только убедил меня, что не надо держать слово, которое ты дал тому, в кого не веришь! Если бы убедил, что чудес не бывает...» - и пошла послушала, но все время оглядывалась, нет ли где Мориса. Он говорил, что самое раннее Евангелие написано лет через сто после того, как Христос родился. Я и не знала, что так

рано, но никак не могла понять, какая разница, раз уж легенда создана. Потом он сказал, что Христос в Евангелии не называл себя Богом, но был ли вообще Христос и что такое Евангелие, когда такая мука смотреть и смотреть, а Мориса нет. Седая женщина раздавала карточки, там было напечатано: «Ричард Смитт» – и адрес, Седар-роуд, и всех приглашали зайти, поговорить с ним. Одни карточек не брали и спешили уйти, словно женщина проводила подписку, другие бросали на газон (я видела, как она поднимала, – наверное, экономии ради). Все это было так печально – страшные пятна, ненужная речь, выброшенные карточки, – словно он предлагает дружбу, а ее не берут. Я положила карточку в карман, надеясь, что он увидит.

К обеду пришел сэр Уильям Мэллок, очень старый и важный. Он был одним из советников Ллойд Джорджа по государственному страхованию. Генри, конечно, уже не ведаёт пенсиями, но интересуется ими и любит вспоминать старые дни. Не пенсиями ли для вдов он занимался, когда мы с Морисом обедали в первый раз и все началось? Генри завел длинный спор с Мэллоком о том, сравниваются ли вдовьи пенсии с тем, что было десять лет назад, если прибавить шиллинг. Они сыпали цифрами, спорили, сколько теперь что стоит, – чисто академический спор, ведь оба они говорили, что стране этого не потянуть. Мне тоже надо было поболтать с начальником Генри, а ничего не приходило в голову, кроме «фау-1», и вдруг мне страшно захотелось всем рассказать, как я спустилась вниз и увидела Мориса под обломками. Я хотела сказать: «Сама я была голая, конечно, когда мне было одеться?» Интересно, шевельнулся бы сэр Уильям, услышал бы Генри? Он умеет слышать только то, что относится к делу, а к делу относились цены 1943 года. «Я была голая, – сказала бы я, – потому что мы с Морисом полдня не вставали с постели».

Я посмотрела на этого начальника, Данстана. У него кривой нос, вынуждаешь изгнать любовь, а потом забираешь и похоть. Чего Ты теперь ждешь от меня, куда мне отсюда идти?"

В школе я учила, что какой-то король – один из Генрихов, тот, что убил Бекета, увидел, что сгорел его родной город, и поклялся: «Ты украл у меня то, что я люблю больше всего на свете, – город, где я родился и вырос, – и я у Тебя украду то, что Ты любишь во мне». Странно, за шестнадцать лет не забыла. Король поклялся верхом на коне, семьсот лет назад, а я клянусь теперь, в гостиничном номере. Я украду у Тебя, Господи, то, что Ты особенно во мне любишь. Я никогда не знала наизусть «Отче наш», а во 1 это помню молитва это или нет? То, что Ты во мне любишь.

Что же Ты любишь? Если бы я верила в Тебя, я бы верила в бессмертную душу, но ее ли Ты любишь? Видишь ли ее сквозь тело? Даже Бог не может любить то, чего нет, то, чего Ему не увидеть. Когда Он смотрит на меня, видит ли Он то, чего я не вижу? Чтобы Он ее любил, она должна быть хорошей, а во мне ничего хорошего нет. Я хочу, чтоб мужчины мной восхищались, но этому учись в школе – повела глазами, понизила голос, коснулась плеча. Если они думают, что ты от них в восторге, они будут в восторге от твоего вкуса, будут восхищаться, и хоть на время покажется, что в тебе есть что-то хорошее. Всю жизнь я пыталась жить такой иллюзией этот наркотик помогает забыть, что ты потаскуха и врунья. Что же ты любишь во врунье и потаскухе? Где ты находишь эту душу, о которой столько говорят? Что ты видишь хорошего во мне, вот в этой? Ну, в Генри, я бы поняла – не в короле Генрихе, в моем муже. Он добрый, деликатный, терпеливый. Или в Морисе. Он думает, что ненавидит, а сам любит и любит. Врагов, и тех. Но в этой потаскухе и врунье что Ты можешь любить?

Скажи мне, пожалуйста, Боже, и это я у Тебя украду.

Да, что ж такое сделал король? Никак не вспомню. Ничего не помню" разве что он велел монахам сечь его на могиле Бекета. Вроде бы не то. •Что-нибудь другое, раньше.

Генри опять сегодня ушел. Если я спущусь в бар, и подцеплю мужчину и поведу его к морю, и лягу с ним прямо на песке, украду я у Тебя то, что Ты особенно любишь? Но это ведь не

помогает. Больше не помогает. Как же я Тебя обижу, если мне нет никакой радости? С таким же успехом я могла бы втыкать в себя булавки, как пустынный. Да, я ведь и живу в пустыне. Надо сделать что-то такое, отчего мне будет лучше. Тогда я Тебя обижу. А так – это какое-то умерщвление плоти. Оно ведь бывает у тех, кто верит в Тебя. А я, поверь Ты мне, еще не верю, еще в Тебя не верю.

12 сентября 1944.

Завтракала в «Питере Джонсе» и купила для Генри новую лампу. Очень чопорный завтрак, одни женщины. Ни одного мужчины. Как женский полк. От этого как-то спокойней. Потом пошла в «Хронику» на Пиккадилли, смотрела развалины в Нормандии и как приехал какой-то американский политик. Нечего делать до семи, когда Генри вернется. Выпила одна немножко. Это зря. Неужели я еще и сопьюсь? Но если я откажусь от всего, как мне жить? Я любила Мориса, нравилась мужчинам, любила капельку выпить. Вот это и называлось "я". Если все это бросить, что от меня останется? Пришел Генри, очень довольный. Он явно хотел, чтобы я спросила, чем он доволен, но я не спросила. Тогда он сказал сам: «Меня представили к четвертой степени».

Я спросила: «А что это такое?»

Он чуть не обиделся, что я не знаю, и объяснил, что это орден Британской империи. Через год-другой, когда он возглавит отдел, дадут вторую степень, а когда выйдет в отставку – первую.

– Совсем запуталась, – сказала я. – Ты не объяснишь?

– Хочешь быть леди Майлз? – спросил Генри, а я сердито подумала, что я хочу только одного – быть миссис Бендрикс, а этого не будет никогда. Леди Майлз – не пьет, ни с кем не спит, только говорит о пенсиях с сэром Уильямом. Где же буду я?

Ночью я смотрела на Генри. Пока я, по закону, была «виновной стороной», я могла смотреть на него нежно, как будто он ребенок и я должна его беречь. А теперь я «невинна» и просто вынести его не могу. У него есть секретарша, она иногда звонит сюда. Она говорит: «Миссис Майлз, а Г. М. дома»? Все секретарши так говорят, это просто ужас какой-то, не подружески, а развязно. Я смотрела, как он спит, и думала: «Г. М., Господи Милостивый...» Иногда он улыбался во сне – быстро, скромно, словно говорил: «Да, очень мило, а теперь вернемся к делам».

Как-то я сказала ему:

– У тебя был роман с какой-нибудь секретаршей?

– Роман?

– Ну, любовная связь.

– Что ты! Почему ты так думаешь?

– Я не думаю. Я просто спросила.

– Я никого другого не любил, – сказал он и уткнулся в газету. А я все гадала, неужели мой муж такой неинтересный, что ни одна женщина на него не польстилась? Кроме меня, конечно. На что-то он был мне нужен, но я забыла, и я была слишком молода, не знала, что делаю. Это нечестно. Пока я любила Мориса, я любила Генри, а теперь, когда я «хорошая», я не люблю никого. А Тебя – меньше всех.

8 мая 1945.

Пошли в Сент-Джеймский парк посмотреть, как празднуют Победу. Между дворцом и Казармами конной гвардии, у освещенной воды, было совсем тихо. Никто не пел, не кричал, никто не напился. Все сидели парами на траве, держась за руки. Наверное, они очень радовались, что теперь мир и нет бомбежек. Я сказала Генри:

– Мне мир не нравится. А он сказал:

– Интересно, куда меня переведут?

– В министерство информации? – сказала я, чтобы он подумал, будто мне это важно.

– Нет-нет, туда я не пойду. Там полно временных чиновников. Как тебе министерство внутренних дел?

– Что угодно. Генри, только б ты был доволен, – сказала я. Тут королевская семья вышла на балкон, и все негромко запели. Это были не вожди, вроде Гитлера, Сталина, Черчилля, Рузвельта, а просто семья, которая никому ничего плохого не сделала. Я хотела, чтобы рядом со мной был Морис. Я хотела все начать сызнова. Я хотела, чтобы у меня была семья.

– Очень трогательно, правда? – сказал Генри. – Что ж, теперь мы можем спокойно спать. – Словно мы хоть что-нибудь другое делали по ночам.

16 сентября 1945.

Надо быть умнее. Позавчера я вынимала все из старой сумки. Генри подарил мне новую, «по случаю Победы», наверное, страшно потратился, – так вот, вынимала и нашла карточку «Ричард Смитт, Седар-роуд, 16, с 4 до 6 ежедневно. Частная беседа. Рады всем, кто придет». И я подумала: хватит. Теперь я сделаю иначе. Если он убедит меня, что ничего не было, что мой обет – пустой, я напишу Морису и попрошу, если он хочет, чтобы все шло как раньше. Может быть, я даже уйду от Генри, не знаю. Только сперва стану поумнее. Не впаду больше в истерику. Буду жить разумно. Так что я пошла на Седар-роуд.

Теперь я стараюсь вспомнить, что там было. Мисс Смитт подала чай, а потом ушла, и я осталась с ее братом. Он спросил, в чем мои трудности.

Я села на диван, обитый ситцем, он – на стул и взял кошку на колени. Он ее гладил, у него красивые руки, мне они не понравились. Мне даже пятна нравились больше, но он сел так, чтобы я видела другую щеку. Я сказала:

– Объясните, пожалуйста, почему вы так уверены, что Бога нет? Он гладил кошку, смотрел на свои руки, и я пожалела его, ведь он ими гордится. Если бы не было пятен, наверное, не было бы и гордости.

– Вы слышали, как я говорил?

– Да.

– Там приходится упрощать. Надо, чтобы люди сами думали. Вы стали думать?

– Да, вероятно...

– В какой конфессии вы воспитаны?

– Ни в какой.

– Значит, вы не христианка?

– Наверное, меня крестили. Это ведь принято, правда?

– Если вы не верите в Бога, зачем вам моя помощь? И впрямь, зачем я пришла? Не могу же я ему рассказать про Мориса под обломками и про мой обет. Пока не могу. Потом, это не все, мало я в жизни нарушала обещаний! Почему вот это осталось, как уродливая ваза, которую вам подарили, и вы не дождетесь, чтобы служанка ее разбила, а она бьет все подряд, только ваза цела? Я не могла ответить, и он спросил снова. Я сказала:

– Не знаю, может, и верю. Только верить не хочу.

– Расскажите мне все, – сказал он, и забыл про руки, и повернулся той щекой, забыл о себе, чтобы мне помочь, так что я заговорила – и про ту ночь, и про бомбу, и про дурацкий обет.

– Вы действительно верите, что?.. – начал он.

– Да, – ответила я.

– Подумайте, сейчас молятся тысячи и ничего не получают.

– Тысячи умирали, когда Лазарь...

– Мы же не верим этой басне? – сказал он, словно мы сообщники.

– Нет, конечно, но очень многие верят. Им кажется разумным...

– Они не ждут разумности, если их что-то тронуло. Ведь влюбленные неразумны.

– Вы и любовь можете объяснить? – спросила я.

– Как же! – сказал он. – У одних это – вроде жадности, хотят чем-то владеть. Другие хотят подчиниться, снять с себя ответственность. Третьи жаждут восхищения. Многим нужно выговориться перед кем-то, кто не заскучает. Многим недостает матери или отца. Ну и, конечно, биологические мотивы.

«Все так, – думала я, – но неужели ничего больше нет?» Я копнула себя, Мориса, но лопата не ударилась о камень. И я спросила:

– А любовь к Богу?

– То же самое. Человек создал Бога по своему подобию, так что естественно его любить. Вы видели кривые зеркала? А мы создали зеркало, в котором видим себя хорошими, сильными, справедливыми, мудрыми. Так мы думаем о себе. Так легче себя узнать, легче себя любить.

Когда он говорил про зеркала, я забыла свой вопрос, я думала только о том, сколько раз с самого детства смотрел он в зеркало и хотел выглядеть в нем получше. Я думала, почему он не отрастил бороду – волосы там не растут или он ненавидит обман? Наверное, он и впрямь любит правду... вот, опять «любит», а ведь яснее ясного, как объяснить эту его любовь. Хочет возместить свою беду, хочет властвовать, хочет, чтобы им восхищались, особенно потому, что его бедное лицо никого не привлечет. Мне страшно захотелось тронуть эту щеку, приласкать, утешить. Все было как тогда, когда Морис лежал мертвый. Вот бы и теперь помолиться, предложить очень большую жертву, только бы он вылечился, но мне жертвовать нечем.

– Дорогая моя, – сказал он. Бог тут ни при чем, вы поверьте. Все дело в муже и любовнике. Не путайте живых людей с призраками.

– Как же мне решить, – спросила я, – если любви тоже нет?

– Решите, что ведет к счастью.

– Вы верите в счастье?

– Я не верю в отвлеченные понятия.

«Вот его единственное счастье, – поняла я. – Думать, что он утешит, поможет, посоветует, что он кому-то нужен. Из-за этого он каждую неделю идет туда, к нам, говорит, его не слушают, не спрашивают, бросают карточки на газон. Часто ли кто-нибудь приходит, как я вот пришла?» И я спросила:

– К вам часто приходят?

– Нет, – сказал он. Любовь к правде была сильнее гордости. – Вы первая... за долгое время.

– Мне вы очень помогли, – сказала я. – Все стало гораздо яснее. Больше я никак не могла его утешить. Он робко сказал:

– Если у вас есть время, мы бы начали с начала и дошли до самой сути. Я имею в виду философские доводы, исторические свидетельства.

Наверное, я что-то ответила вроде «нет», потому что он стал настаивать:

– Это очень важно. Нельзя презирать врагов. У них тоже есть доводы.

– Есть и у них?

– Неразумные. Ну, разумные на первый взгляд. Обманчивые. Он испуганно смотрел на меня. Он думал, наверное, не из тех ли я, кто уходит, и нервно сказал:

– Часок в неделю. Это вам очень поможет, – а я подумала: «Я же теперь совершенно свободна. Могу пойти в кино, могу взять книгу, только я не читаю и не помню фильмов. Я слепа и глуха от горя. Сегодня я ненадолго забыла и горе, и себя».

– Да, приду. Спасибо, что уделили мне время, – сказала я, отдавая ему всю надежду, моля Бога, от которого он обещал меня вылечить: «Дай мне ему помочь!»

2 октября 1945. Сегодня было очень жарко, накрапывал дождь, и я зашла в темную церковь

на углу Парк-роуд немножко посидеть. Генри был дома, я не хотела его видеть. Я стараюсь быть доброй за завтраком и за обедом, если он дома, а иногда я все-таки забываю, он один добрый. Два человека, добрых друг к другу всю жизнь... Когда я вошла и присела и огляделась, я увидела, что церковь -католическая, всюду эти жуткие статуи, реалистические какие-то. Я просто смотреть не могла и на них, и на распятие, опять человеческое тело, а я хочу бежать от него и от всего, что ему нужно. Я думала, что могла бы поверить в такого Бога, который никак с нами не связан, расплывчатого, неопределенного, космического – я ему что-то обещала, он дал мне что-то взамен, словно могучая струя пара ворвалась на минуту в нашу жизнь, в наши комнаты, где стоят столы и стулья. Когда-нибудь и я стану таким вот паром, уйду в него от себя. А тут, в темной церкви на Парк-роуд, столько всяких тел, на всех алтарях жуткие гипсовые статуи со сладкими лицами, и я вспомнила, что христиане верят в воскресение плоти, той плоти, которую я хотела навеки уничтожить. Я сделала ею столько зла, как же мне хотеть, чтобы она сохранилась в вечности. И тут я вспомнила слова Ричарда о том, что мы выдумываем доктрины, чтоб удовлетворить свои желания, и удивилась, насколько же он не прав. Если бы доктрину выдумывала я, я бы выдумала, что тело не воскреснет, что оно сгниет, как прошлогодняя падаля. Странно, как наш ум качается туда-сюда, от крайности к крайности. Может быть, истина в какой-то точке, через которую маятник пролетает, не там, где он уныло висит, как флаг без ветра, а к краю поближе? Если бы маятник чудом остановился под углом в 60 градусов, я бы поверила, что истина – здесь. Сегодня маятник не останавливался, и я думала о теле Мориса, не о своем. Я думала о морщинках, которые жизнь прорезала на его лице, таких же неповторимых, как его почерк. Думала о свежем шраме на плече, которого бы не было, если бы он не защитил другое тело от падающей стены. Он не говорил мне, почему лежал три дня в больнице, Генри сказал. Этот шрам – часть его характера, как ревность. Я подумала: хочу я, чтобы это тело обратилось в пар? (мое – да, конечно, а это) – и я поняла, что шрам должен быть всю вечность. Хорошо, а мой пар сможет его любить? Тут я стала любить и свое ненавистное тело, но только за то, что оно может любить шрам. Неужели любит душа – и все, ничто больше? Любовь всегда и везде, даже ногти любят, даже платье, одежда, один рукав чувствует другой.

«Ричард прав, подумала я, – мы выдумали воскресение, потому что тела нам нужны», – и как только я решила, что это сказка, которой мы друг друга утешали, статуи совершенно перестали меня раздражать. Они были как плохие картинки к Андерсену, как плохие стихи, кому-то ведь надо их писать – тому, кто не так горд, чтобы их прятать. Я обошла церковь, разглядывая их. Перед самой ужасной – не знаю, кто же это – молился пожилой человек. Рядом стояла шляпа, а в ней лежал сельдерей, завернутый в газету.

Конечно, было оно и на алтаре, такое знакомое. Я знала его лучше, чем тело Мориса, но никогда не думала, что это ведь тело, у него есть все, даже то, что прикрыто. Я вспомнила распятие в одной испанской церкви, мы там были с Генри. Красная краска шла от глаз и от рук, меня затошнило. Генри хотел, чтобы я восхитилась колоннами XII века, но меня тошнило, я вышла поскорей на воздух. Я думала: «Как они любят жестокость!» Пар не испугает кровью и криками.

Когда я опять была на площади, я сказала Генри:

– Видеть не могу эти нарисованные раны. Генри ответил разумно, он всегда разумен:

– Конечно, вера у них материалистическая. Сплошная магия...

– Разве магия – это материализм? – спросила я.

– Да. «Глаз тритона, лапка жабы, палец мертвого младенца» Куда уж материальней! Они верят, что во время мессы хлеб превращается в тело,

Я и сама знала, но думала, что этого, собственно, уже нет после Реформации, только бедные в это верят. Генри поправил меня (как часто он приводил в порядок мои запутанные



мысли!).

– Нет, не одни бедные, – сказал он. – Умнейшие люди верили в это – Паскаль, Ньюмен. Такие тонкие во всем, такие суеверные в этом. Когда-нибудь мы узнаем, в чем тут дело. Возможно, что-то эндокринное.

И вот я смотрела на материальное тело, на материальный крест, думая, как же распяли пар. Конечно, пару не больно, ему и хорошо не бывает. Я просто из суеверия решила, что он может ответить на молитву. «Господи, дорогой», сказала я, а надо бы: «Дорогой пар». Я говорила, что его ненавижу, а можно ли пар ненавидеть? Можно ненавидеть такое тело на кресте, оно требует благодарности – «Вот что Я вынес за тебя», – но пар... А Ричард и в пар не верит. Он ненавидит басню, борется с басней, принял ее всерьез. Я не могла бы ненавидеть Ханса и Гретель или их сахарный домик, как он ненавидит миф о небесах. В детстве я не любила злую королеву из «Белоснежки», но он ведь не беса ненавидит. Да, бесов нет, если нет Бога, но он-то ненавидит добрую сказку, а не злую. Почему? Я подняла глаза на слишком знакомое тело, искривленное выдуманной болью. Голова у него упала, как у спящего. Я подумала: «Иногда я ненавидела Мориса, но я бы и ненавидеть не могла, если бы я его не любила. Господи, если бы я могла Тебя ненавидеть, чтобы это значило?»

"Может быть, – думала я, – я и сама материалистка? Может, и у меня что-нибудь эндокринное, раз меня не интересуют важные, здравые вещи – благотворительный комитет, или уровень жизни, или калории для рабочих? Я материалистка, потому что я верю, что отдельно, сами по себе существуют и человек, и шляпа с сельдереем, и металл креста, и мои руки, которые я не могу: сложить для молитвы? Предположим, что Бог есть. Предположим, что он – вот такое тело. Что ж тут плохого, если поверить, что его тело существует, как мое? Разве мог бы кто-нибудь любить его или ненавидеть, если бы у него не было тела? Не могу я любить пар, который раньше был Морисом. Это дико, это грубо, это материализм – все знаю, но почему мне не быть дикой, грубой материалисткой? Я пошла к выходу очень злая, и в пику Генри, в пику всем умным и разумным, сделала то, что делали в Испании: окунула палец в эту их святую воду и вроде бы перекрестилась.

10 января 1946.

Не могла сидеть дома, вышла, хотя идет дождь. Я вспомнила, как я впилась ногтями в ладони, и не знала, что Ты испытал такую самую боль. Тогда я сказала: «Сделай, чтобы он был жив», не веря в Тебя, но Тебе это было все равно. Ты принял мое неверие в Свою любовь – принял как дар, а сегодня у меня промокли насквозь и пальто, и платье, я дрожала, и в первый раз было так, словно я Тебя почти люблю. Я ходила под дождем под его окнами и проходила бы всю ночь, чтобы показать, что и я учусь любви, и я больше не боялась пустыни, потому что в ней – Ты. Я вернулась, а у нас был Морис. Ты вернул его мне во второй раз. В первый я Тебя за это ненавидела, но Ты принял мою ненависть в Свою любовь, как принял неверие, и сохранил, чтобы потом показать, и мы бы вместе посмеялись – как смеялись с Морисом и говорили: «Помнишь, вот было глупо?..»

18 января 1946.

Первый раз за два года я завтракала с Морисом – позвонила ему, попросила со мной встретиться, а мой автобус застрял в пробке у Стокуэл-ла, и я опоздала на десять минут. Сперва я испугалась, я раньше всегда пугалась, как бы что-нибудь не случилось, не испортило день и он бы на меня не рассердился. Сама я теперь сердиться не могу, я и это потеряла. Я хотела поговорить про Генри, тот теперь какой-то странный. Раньше бы он не стал пить в баре с Морисом. Он пьет только дома и в клубе. Я подумала, может, он говорил с Морисом. Странно, если он из-за меня волнуется. С самой нашей свадьбы не было меньше причин. Когда я была с Морисом, с кем я еще могла быть? Про Генри я ничего не узнала. Морис несколько раз пытался

меня обидеть, и обидел, он ведь мучил себя, а я не могу на это смотреть.

Нарушила я обет? Год назад я так бы подумала, а теперь не думаю. Тогда я все принимала буквально, потому что я боялась и не знала, что к чему, и не верила любви. Мы завтракали, и я была счастлива, что мы сидим вместе. Только немножко расстроилась, когда мы прощались на решетке и я думала, он меня поцелует, и очень этого хотела, и тут закашлялась, время и ушло. Я знаю, он думал всякую чушь, и мучился, и я мучилась, раз ему плохо.

Я хотела поплакать одна, зашла в Галерею, но там были студенты, масса народу, и я пошла по Мейден-лейн до церковки, в ней темно и никто не увидит. Я села на скамейку. Кроме меня, никого не было, только небольшой человечек, он зашел потом и тихо молился на задней скамье. Я вспомнила, как я в первый раз была в церкви и как все ненавидела. Я не молилась. Что ж все молиться? Я сказала Богу, как сказала бы отцу, если бы его помнила: «Дорогой Бог, я устала».

3 февраля 1946.

Сегодня я видела Мориса, а он меня не видел. Он шел в свой «Герб Понтефрактов», а я шла за ним. Я была целый час на Седар-роуд – все старалась разобраться в доводах бедного Ричарда, и выходило, что он как-то вывернуто верит. Можно ли так серьезно, так пылко спорить о легенде? Я и поняла, и узнала только странные факты, которые ничего не доказывают. Например, свидетельства о том, что Христос действительно был. Ухожу я от него совсем разбитая и расстроенная. Я к нему пошла, чтобы избавиться от суеверия, но всякий раз оно становится сильнее из-за его одержимости. Я ему помогала, а он мне не помог. Или помог? Целый час я почти не думала о Морисе, и тут он появился сам, переходил улицу.

Я пошла за ним. Мы столько раз бывали в «Гербе». Я знала, к какой стойке он подойдет, что закажет. Я думала: может, тоже зайти, спросить пива, а он обернется, и все начнется сначала? Утром я буду надеяться, потому что смогу позвонить, когда Генри уйдет, а иногда Генри скажет, что не вернется к вечеру. И вообще, я могу уйти от Генри. Я сделала, что могла. Денег у меня нет, Морис сам еле перебивается, книги дают немного, но мы сэкономим на одной машинистке фунтов пятьдесят в год. Бедности я не боюсь. Иногда легче перебиваться, чем жить, как жила.

Я стояла в дверях и смотрела, как он идет к стойке. Я сказала Богу:

«Если он обернется, увидит меня, я войду», – но он не обернулся. Я пошла домой и все о нем думала. Мы чужие почти два года. Я не знала все это время, что он делает в тот или иной час, но теперь он – не чужой, я ведь знаю, как раньше, где он. Он выпьет еще пива и пойдет туда, к себе, писать. Привычки у него такие же, и я люблю их, как любят старое пальто. Мне спокойней с ними. Я не хочу и не люблю ничего нового.

И еще я думала, каким счастливым я бы могла его сделать. Это очень легко. Мне так хотелось снова увидеть, как он смеется от счастья. Генри дома не было. Он собирался пойти с кем-то в ресторан после работы и звонил, что не придет до семи. Я решила подождать до половины седьмого, а потом позвонить Морису. Я бы сказала: «Я приду на ночь, и на все ночи. Я устала без тебя». Я бы сложила вещи в большой синий чемодан и в маленький коричневый. Надо взять платьев на месяц. Генри – порядочный человек, через месяц все формальности уладятся, первая горечь пройдет и можно будет спокойно взять все, что нужно. Да горечи особой и не будет, мы же не влюбленные. Брак превратился в дружбу, а дружить очень скоро можно будет по-прежнему.

Вдруг я почувствовала, что счастлива и свободна. «Больше не буду о тебе думать», – сказала я Богу, когда вышла на Коммон, – есть ты или нет, дал ты Морису попытаться снова или я все выдумала. Может, это я для него и просила. Он будет счастлив со мной. Вот мой второй обет, Господи. Останови меня, если можешь, останови, если можешь».

Я пошла наверх к себе и стала писать Генри. «Милый Генри», – написала я, но мне

показалось, что это лицемерно, не мил он мне. Тогда я написала, как знакомому: «Дорогой Генри, я боюсь, что ты очень расстроишься, но вот уже пять лет я люблю Мориса Бендрикса. Почти два года мы не виделись, даже не писали друг другу, но это не помогло. Я не могу без него жить и от тебя ухожу. Я знаю, я давно тебе плохая жена, и романов у меня не было с июня 1944 года, так что всем только хуже. Я думала когда-то, что в романе ничего плохого нет, он тихо-мирно сам собой угаснет, но ничего не вышло. Я люблю Мориса больше, чем в 1939 году. Наверное, я была очень глупая, а теперь я знаю, что рано или поздно надо выбирать, а то больше все запутаешь. До свиданья, храни тебя Бог». Насчет Бога я вычеркнула, совсем зачеркнула, чтобы не было видно. Все ж как-то слащаво, и потом, Генри в Бога не верит. Я хотела приписать «Любящая Сара», но это не подходит, хотя на самом деле так оно и есть. Я люблю Генри на свой, нелепый лад.

Письмо я положила в конверт и надписала «Лично». Я подумала, тогда Генри не откроет его при чужих – ведь он может привести домой приятеля, а я не хочу, чтобы видели его унижение. Потом я вытащила чемодан, стала укладывать вещи и вдруг забыла, куда же я положила письмо? Я его сразу нашла, но тут подумала: «А вдруг я в спешке не положу его в передней и Генри будет ждать, когда я приду?» И я понесла письмо вниз. Я почти все уложила, осталось вечернее платье, а Генри должен был прийти не раньше чем еще через полчаса.

Только я положила письмо на столик, поверх вечерней почты, как в двери заворочался ключ. Я схватила письмо, сама не знаю почему, и вошел Генри. У него был больной, расстроенный вид. Он сказал:

– А, ты здесь? – и прошел мимо меня в кабинет.

Я подождала чуть-чуть и пошла за ним. Я думала: «Сейчас дам письмо, вот соберусь с духом». Когда я открыла дверь, он сидел в своем кресле у незажженного камина и плакал.

– Генри, что с тобой? – спросила я. Он сказал:

– Ничего, голова разболелась.

Я разожгла камин для него и сказала:

– Сейчас принесу таблетку.

– Не беспокойся, – сказал он, – Уже получше.

– Что ты делал сегодня?

– То же, что всегда. Устал немного.

– С кем ты обедал?

– С Бендриком. Я переспросила:

– С Бендриком?

– А что такого? Он пригласил меня в свой клуб, очень плохо кормили. Я подошла к нему сзади и положила ему руку на лоб. Странно, ведь я собиралась от него уйти. Он клал мне руку на лоб, когда мы поженились и у меня часто болела голова, потому что все у нас шло плохо. На минуту я забыла, что притворялась тогда, будто мне лучше. Он взял мою руку и прижал крепче.

– Я тебя люблю, – сказал он. – Ты это знаешь?

– Да, – сказала я. Ну что это такое, будто чего-то требует! «Если бы ты правда меня любил, – подумала я, – ты бы себя вел как оскорбленный муж. Ты бы сердился, и это бы меня освободило».

– Я без тебя не могу, – сказал он. «Можешь, можешь, – подумала я. – Неудобно тебе будет, но можешь. Как-то ты стал выписывать другую газету – и ничего, привык. Это все слова, приличные слова приличного мужа, они ничего не значат». И я увидела в зеркале его лицо, он опять плакал.

– Генри, – спросила я, – что случилось?

– Ничего, я же тебе сказал.

– Неправда. На службе что-нибудь? Он сказал с непривычной горечью:

– Что там может случиться?

– Тебя Бендрикс расстроил?

– Ну что ты!

Я хотела, чтобы он убрал руку, но он не убирал. Я боялась, что он еще скажет, боялась такого тяжелого бремени. Морис, наверное, уже дома. Если бы Генри не вернулся, я бы через пять минут была у него. Я бы видела счастье, а не горе. Если не видишь, как горюют, в это не веришь. Очень легко огорчать на расстоянии. Генри сказал:

– Дорогая моя, дорогая, я был плохим мужем.

– Не понимаю,– сказала я.

– Я такой скучный. И друзья у меня скучные. Сама знаешь, мы... мы давно не были вместе.

– Так всегда, – сказала я,– у всех. Мы с тобой хорошие друзья. «Когда он согласится,– думала я, – я дам ему письмо и все скажу и уйду». Но он не согласился, и вот я здесь, опять дверь закрылась. Только теперь я Бога не виню. Я сама закрыла ее. Генри сказал:

– Какие там друзья! Без друга можно жить,– и он повернулся ко мне. – Не уходи от меня! Потерпи еще немного. Я постараюсь...– Он не придумал, что же он постарается сделать. Почему я не бросила его давно, нам обоим было бы лучше! Я не могу его ударить, когда он рядом, а он всегда будет рядом, потому что я увидела, как он плачет.

Я сказала:

– Что ты, я тебя не брошу!

Вот и еще одно обещание, надо его держать, а ведь я просто не могла больше быть с ним. Он победил, Морис проиграл, я ненавидела за это Генри. Ненавидела бы я Мориса, если бы победил он? Я пошла наверх и порвала письмо на такие мелкие клочки, что никто бы их не сложил, и запихала чемодан под кровать, я очень устала, чтобы распаковывать. И вот сижу пишу. Морис выписывает свою боль, так и слышишь, как ему плохо. Что ж, если боль можно выписать, буду учиться этому и я. Морис, как бы я хотела с тобой поговорить! Я не могу говорить с Генри. Ни с кем говорить не могу. Господи, дорогой, дай мне поговорить с ним!

Вчера я купила распятие, дешевое, некрасивое – я спешила. Когда я спросила его, я покраснела. Меня могли увидеть в этом магазине. Им бы надо вставить в дверь матовое стекло, как в лавочках, где продают презервативы. Когда я закрываю двери у себя, я могу его вынуть из шкапулки с драгоценностями, оно там в самом низу. Хотела бы я знать молитву без этих «мне». «Помоги мне», «Дай мне счастья!», «Пошли мне смерть!» Мне, мне, мне.

Сделай так, чтобы я думала про пятна у Ричарда на щеке. Сделай так, чтобы я видела, как Генри плачет,– Господи, дорогой, вот я старалась любить и так напутала! Если бы я любила Тебя, я бы умела любить всех. Я верю в легенду. Я верю, что Ты родился. Я верю, что Ты умер за нас. Я верю, что Ты Бог. Научи меня любить. Пускай мне будет плохо, это ничего. Я не могу, чтобы им было плохо. Сделай так, чтобы мне было хуже и хуже, а им – лучше! Господи, дорогой, Ты не можешь сойти с креста, чтобы я была на кресте вместо Тебя? Если бы я страдала, как Ты, я бы, как Ты, и помогала.

4 февраля 1946.

Генри не пошел на работу – не знаю почему. Он повел меня в кафе и в Национальную галерею, мы пообедали дома, а потом пошли в театр. Он – как отец, который взял ребенка из школы. Но ребенок-то он.

5 февраля 1946.

Генри думает поехать весной за границу, только не знает куда, на Луару или в Германию, он там может сделать доклад о том, как вели себя немцы во время бомбежек. Хоть бы весна не пришла! Как бы я этого хотела! Ну, вот опять – «хочу», «не хочу»... Если б я любила Тебя, я бы

сумела любить Генри. Ты же стал человеком – и Генри с его близорукостью, и Ричардом с пятнами, не только Морисом. Если бы я любила прокаженных, я ведь сумела бы любить скучных, правда? Да что там, я бы убежала от прокаженного, окажись он здесь, как я бегу от Генри! Все мне надо событий. Я возомнила, что выдержу боль от гвоздей, а не могу выдержать одни сутки карт и справочников! Господи, дорогой, я ни на что не гожусь. Я такая же потаскуха и врунья, как раньше. Убери Ты меня с дороги!

6 февраля 1946.

Сегодня было очень плохо у Ричарда. Он говорил мне о том, как противоречат друг другу разные конфессии, а я старалась слушать, но не сумела, и он это заметил. Он вдруг спросил:

– Зачем вы сюда ходите? А я не подумала и сказала:

– Чтобы видеть вас.

– Я думал, вы ходите учиться, – сказал он. И я объяснила, что это я и имела в виду.

Я знала, что он не верит мне, и боялась, что он обидится, рассердится, но он совсем не рассердился. Он встал с кресла и сел рядом на диван, чистой щекой ко мне. Он сказал:

– Мне очень важно, что вы приходите. И тут я поняла, что сейчас он будет за мной ухаживать. Он взял мою руку и спросил:

– Я вам не нравлюсь?

– Конечно, нравитесь, – сказала я. – А то бы я тут не была.

– Вы не выйдете за меня замуж? – спросил он, из гордости – так, словно спрашивал, не выпью ли я чаю.

– Генри обидится, – сказала я, стараясь обратить это в шутку. Он спросил:

– Вы ни за что от него не уйдете?

А я сердито подумала: «Если я из-за Мориса не ушла, какого черта уходить из-за вас?»

– Я за ним замужем.

– Для нас с вами это ничего не значит.

– О нет, значит! – сказала я. – Я верю в Бога, – надо же когда-нибудь сказать. – Это вы меня научили. Вы с Морисом.

– Я не понял.

– Вы всегда говорили, что священники отняли у вас веру. Бывает и наоборот.

Он посмотрел на свои руки и сказал:

– Мне все равно, во что вы верите. Верьте во что хотите. Я вас люблю, Сара.

– Очень жаль, – сказала я.

– Я люблю вас сильнее, чем ненавижу веру. Если бы у нас были дети, я бы разрешил вам их портить.

– Ну, зачем вы!

– Я не богат. Больше мне нечем вас подкупить.

– Я люблю другого, Ричард.

– Не так уж вы его любите, если связаны этим дурацким обетом.

– Я все делала, чтоб его нарушить, – сказала я. – Ничего не выходит.

– Вы думаете, я дурак? – спросил он.

– Что вы, почему?

– Потому что жду, чтобы вы полюбили такого, – он повернулся ко мне больной щекой. – Вы верите в Бога. Это легко. Вы красивая. Вам не на что жаловаться, а мне за что его любить, если он дал вот это ребенку?

– Ричард, – сказала я, – дорогой, это совсем не страшно... – и закрыла глаза, и поцеловала пятна. На минутку меня затошнило, я ведь боюсь уродства, а он сидел тихо, не двигался, и я подумала: «Я целую горе, оно – Твое, не то что счастье. Значит, я люблю Тебя». Я почти

ощутила вкус железа и соли и подумала: «Какой Ты добрый! Ты бы мог убить нас счастьем, а дал нам быть с Тобой в горе».

Я почувствовала, что Ричард резко отодвинулся, и открыла глаза. Он сказал:

– Прощайте.

– До свиданья, Ричард,– сказала я.

– Не приходите больше,– сказал он.– Я не вынесу вашей жалости.

– Это не жалость.

– Я очень глупо себя вел.

И я ушла, незачем было оставаться. Я не могла ему сказать, что я ему завидую, ведь он носит знак горя и каждый день видит в зеркале Тебя, а не ту унылую, земную штуку, которую мы зовем красотой.

10 февраля 1946.

«Мне незачем Тебе писать или говорить с Тобой»,– так я начала недавно письмо, и мне стало стыдно, я его порвала, очень глупо Тебе писать, Ты же знаешь все прежде, чем я подумаю. Любила ли я толком Мориса раньше, чем полюбила Тебя? Или Тебя я и любила все время, касалась Тебя, когда касалась его? Могла бы я Тебя коснуться, если бы сперва не коснулась его, как никого не касалась, ни Генри, ни одного человека? И он любил меня, как никого не любил. Меня – или Тебя? Ведь он ненавидел во мне то, что и Ты ненавидишь. Он был на Твоей стороне, но этого не знал. Ты хотел, чтобы мы с ним расстались,– и он хотел. Он добивался разрыва и злостью, и ревностью, и любовью. Он ведь меня так любил, и я его так любила, что мы все растравили, у нас ничего не осталось, кроме Тебя. Ни у кого из нас. Я ведь могла бы всю жизнь крутить романы. Но уже тогда, в первый раз, в Паддингтоне, мы растравили все, что у нас было. Ты был там. Ты учил нас не скупиться, как богатого юношу, чтобы когда-нибудь у нас осталась только любовь к Тебе. Но Ты ко мне слишком добр. Когда я прошу боли, Ты даешь мир. Дай и ему. Дай ему, заberi от меня, ему нужнее!

12 февраля 1946.

Два дня назад мне было так хорошо, так спокойно. Я знала, что снова буду счастлива, но вот вчера видела во сне, что иду по длинной лестнице к Морису. Я еще радовалась – я знала, что когда я дойду, мы будем любить друг друга,– и крикнула, что сейчас приду, но ответил чужой голос, гулкий, как сирена в тумане. Я решила, что Морис переехал и теперь неизвестно, где он, пошла вниз, но почему-то оказалась по грудь в воде, и в холле был густой туман. Тут я проснулась. Мир и покой исчезли. Я не могу без Мориса, как тогда. Я хочу есть с ним вместе сандвичи. Я хочу пить с ним у стойки. Я устала, я больше не хочу страдать. Мне нужен Морис. Мне нужна простая, грешная любовь. Господи, дорогой мой, я бы хотела, чтобы мне хотелось страдать, как Ты, но не сейчас. Заberi это ненадолго, дай попозже.

Больше я читать не мог. Снова и снова пропускал я совсем уж невыносимые места. Я хотел выяснить про Данстана, хотя и не столько, но теперь это куда-то ушло, словно скучная дата. Теперь это было не важно. Если я опоздал, то на неделю. «Мне нужен Морис. Мне нужна простая, грешная любовь».

«Что же еще я могу дать? – думал я.– Я ничего не знаю о другой любви. Но если ты думаешь, что я все растратил, ты ошиблась. Осталось достаточно на нашу жизнь»,– и я подумал о том дне, когда она паковала вещи, а я тут работал и не знал, что счастье так близко. Хорошо, что не знал; хорошо, что знаю. Теперь я могу действовать. Данстан – это чепуха. Тот уполномоченный – тоже. Я подошел к телефону и набрал ее номер.

Ответила служанка. Я сказал:

– Говорит Бендрикс. Можно попросить миссис Майлз? Она сказала: «Подождите»,– а я перевел дух, словно долго бежал. Я ждал ее голоса, но снова услышал служанкин – та говорила, что миссис Майлз нет дома. Не знаю, почему я ей не поверил. Я подождал пять минут, потом натянул на трубку платок и позвонил еще раз.

– Попросите, пожалуйста, миссис Майлз.

– Ее нет дома.

– Когда ее можно застать? Это сэр Уильям Мэллок. Она ответила очень скоро.

– Алло! Это я.

– Знаю,– сказал я.– Я знаю твой голос.

– Вы... А я думала...

– Сара,– сказал я,– я сейчас приду.

– Нет, Морис, не надо. Я лежу.

– Тем лучше.

– Не говорите глупостей. Я болею.

– Значит, надо увидеться. Что с тобой?

– Да ерунда. Простудилась. Морис...– она говорила четко, как гувернантка, и это бесило меня.– Пожалуйста, не надо приходить.

– Сара, я тебя люблю и приду.

– А я уйду. Встану.

«Если я побегу,– подумал я,– я там буду через пять минут, она еще не оденется». Она сказала:

– Я велю служанке никого не пускать.

– Она не похожа на вышибалу. Меня придется выталкивать.

– Морис, пожалуйста... Я очень прошу... Я давно ничего не просила.

– Только позавтракать вместе.

– Морис, я не могу. Я просто не могу сегодня. На той неделе...

– Много было недель. Я хочу видеть тебя сейчас. Сегодня.

– Почему?

– Ты меня любишь.

– Откуда вы знаете?

– Неважно. Я хочу, чтобы ты ко мне ушла. Уйдешь?

– Морис, я могу ответить так, по телефону. Нет.

– По телефону нельзя тебя коснуться.

– Морис, дорогой, пожалуйста! Обещай, что не придешь.

- Приду.
- Морис, мне очень плохо. Очень больно. Я не хочу вставать.
- И не вставай.
- Я непременно встану, и оденусь, и уйду из дому, если...
- Это гораздо важнее для нас, чем простуда.
- Морис, Морис, пожалуйста. Генри скоро вернется.
- Пускай.– И я повесил трубку.

Погода была хуже, чем месяц назад, когда я встретил Генри. Теперь шел дождь со снегом, и острые снежинки словно проникали в петли макинтоша. Они облепили фонари, бежать было трудно, я вообще плохо бегаю, я хромой. Я пожалел, что не взял фонарика – пришлось добираться целых восемь минут. Только я ступил на мостовую перед домом, открылась дверь и вышла Сара. «Ну вот, – обрадовался я. – Поймал». Я знал точно, что еще до ночи мы снова будем с ней вместе. А тогда уж – всякое может быть. Никогда я не знал ее лучше, никогда так сильно не любил. «Чем больше знаешь, тем больше любишь», – подумал я. Я вернулся на землю доверия.

Она так спешила, что не увидела меня сквозь снег и дождь. Она свернула налево и быстро куда-то пошла. «Где-нибудь она да присядет, – думал я, – тут я ее и поймаю». Я пошел за ней ярдах в двадцати, она не оглядывалась. Она прошла мимо пруда, мимо разбомбленной книжной лавочки, как будто направлялась к метро. Что ж, если надо, я мог с ней говорить в переполненном вагоне. Она спустилась вниз, но не взяла сумки и обнаружила, что в карманах нет денег, даже тех, которые дали бы ей ездить хоть до полуночи. Тогда она взбежала вверх, перешла трамвайные пути. Одно не вышло, она вспомнила другое. Я торжествовал. Она боялась, но не меня же, а себя и того, что будет, когда мы встретимся. Значит, я выиграл и даже мог пожалеть свою жертву. Я хотел сказать: «Не волнуйся, бояться нечего, мы будем счастливы, кошмар почти кончился».

И тут я потерял ее из виду. Я слишком успокоился и дал ей уйти слишком далеко. Она перебежала дорогу (я отстал еще из-за ноги), между нами прошел трамвай, и она исчезла. Она могла свернуть налево, на Хай-стрит, или пойти прямо, к Парк-роуд. Я ее не видел. Я не очень беспокоился – не поймаю сейчас, поймаю завтра. Теперь я знаю про этот идиотский обет, я уверен, что она меня любит, уверен в ней. Если двое любят друг друга, они друг с другом спят, это формула, доказанная всем человеческим опытом.

На Уай-стрит была булочная, я заглянул туда, ее не нашел. Тогда я вспомнил про церковь на углу Парк-роуд и понял сразу, что она там. Конечно, я оказался прав – она сидела в боковом проходе, рядом с жуткой статуей Девы. Она не молилась, просто сидела, закрыв глаза. Я разглядел ее в свете свечей у статуи (в церкви было очень темно) и сел сзади, как Паркие. Я стал ждать. Я бы годами ждал, раз уж узнал, чем все кончится. Я был продрогший, мокрый, счастливый. Я даже мог смотреть на алтарь, жалеть того, кто висит там. «Она любит нас обоих, – думал я, – но если надо выбирать между мифом и человеком, ясно, кто победит». Я мог положить руку ей на бедро, поцеловать ее – он заключен в алтаре и не может за себя постоять.

Вдруг она закашлялась и прижала к боку ладонь. Я знал, что ей больно, и не мог ее так оставить. Я сел рядом с ней и положил ей руку на колено. Когда приступ прошел, она сказала:

- Пожалуйста, оставьте меня.
- Я никогда тебя не оставлю.
- Что с вами, Морис? В ресторане вы таким не были.
- Я не знал, что ты меня любишь.
- Почему вы думаете, что люблю? – спросила она, но не сняла мою руку. Тогда я рассказал ей про Паркиса и про дневник – я не хотел ее обманывать.



– Это нехорошо,– сказала она.

– Да.

Она опять закашлялась и от слабости прислонилась плечом ко мне.

– Сара,– сказал я,– все кончилось. Нам больше не надо ждать. Мы будем всегда вместе.

– Нет,– сказала она.

Я обнял ее и тронул ее грудь, где сердце.

– Отсюда и начнем,– сказал я.– Я плохо любил тебя, Сара. Понимаешь, я не был в тебе уверен. Я тебе не доверял. Я мало знал о тебе. А теперь доверяю.

Она ничего не сказала, но и не отодвинулась, словно соглашаясь. Я сказал:

– Вот что, иди домой, полежи дня два, нельзя ездить с такой простудой. Я буду звонить каждый день, справляться. Когда тебе станет лучше, я приду и помогу сложить вещи. Мы тут не останемся. У меня есть двоюродный брат в Дорсете, у него стоит пустой коттедж. Поживем там месяц-другой, отдохнем. Я кончу книгу. К юристам пойдем позже. Нам обоим надо отдохнуть. Я устал, я ужасно устал без тебя, Сара.

– И я,– она говорила так тихо, что я бы не услышал, если бы ее не знал, но слова эти были как музыкальный ключ ко всей нашей истории, начиная с той падингтонской гостиницы. «И я» – горевала, разочаровывалась, отчаивалась, радовалась, хотела быть всегда вместе.

– Денег мало,– сказал я,– но все ж не очень. Мне заказали биографию генерала Гордона, и мы проживем на аванс месяца три. К тому времени я предложу новый роман и получу аванс под него. Обе книги выйдут в этом году, мы продержимся до следующей. Когда ты рядом, я могу работать. Ну и распишусь я! У меня будет самый вульгарный успех, и нам обоим это не понравится, но мы всего накупим, будем сорить деньгами и радоваться, ведь мы с тобой, вместе.

Вдруг я понял, что она спит. Измучилась от борьбы и заснула у меня на плече, как бывало столько раз в такси, в автобусе, на скамейке. Я сидел тихо, чтобы ей не помешать. Ничто не могло разбудить ее в темной церкви. Пламя свечей едва колыхалось перед статуей, мы были одни. Она давила мне на руку, и я никогда не знал такого наслаждения, как эта боль.

Говорят, если нашепчешь что-нибудь спящему ребенку, это на него повлияет; и я начал шептать, негромко, чтобы ее не разбудить, но все же надеясь, что слова проникнут в подсознание. «Сара,– шептал я,– я тебя люблю. Никто никогда тебя так не любил. Мы будем с тобой счастливы. Генри переживет, мы ведь только раним его гордость, а она заживает быстро. Он найдет, чем тебя заменить,– ну, будет собирать античные монеты. Мы уедем, Сара, уедем. Этому не помешаешь. Ты любишь меня, Сара»,– и я замолчал, думая, надо ли покупать новый чемодан. Тут она проснулась и закашлялась.

– Я заснула,– сказала она.

– Иди домой, Сара. Тебе холодно.

– Это не дом, Морис,– сказала она.– Я не хочу отсюда уходить.

– Тут холодно.

– Ничего. Тут темно. В темноте я во что угодно поверю.

– Поверь в нас.

– Вот именно.

Она опять закрыла глаза, а я взглянул на алтарь и сказал, как сопернику: «Видишь, какие побеждают доводы».

– Ты устала? – спросил я.

– Да, очень.

– Не надо было от меня бежать.

– Это не от тебя.– Она пошевелила плечом.– Пожалуйста, Морис, теперь ты уйди.

– А ты иди ложись.

– Да, сейчас. Я не хочу выходить с тобой. Я хочу тут попроситься.

– Обещай, что скоро ляжешь.

– Обещаю.

– И позвонишь?

Она кивнула, но смотрела она на свою руку, словно брошенную на колени. Я заметил, что пальцы скрещены, и подозрительно спросил:

– Ты не лжешь?

Потом я разнял ее пальцы и спросил снова:

– Ты хочешь опять от меня убежать?

– Морис, дорогой,– сказала она,– у меня нет сил.– И она заплакала, прижимая кулачки к глазам, как ребенок.– Прости,– сказала она.– Уходи, пожалуйста, Морис, пожалей ты меня!

Сколько можно приставать к человеку! Как настаивать после такой мольбы? Я поцеловал спутанные волосы, и соленые, влажные губы тронули уголок моего рта.

– Храни тебя Бог,– сказала она, и я подумал: «Она это вычеркнула, когда писала Генри».

Если ты не Смитт, отвечаешь так же, как попрощались с тобой, и я машинально сказал то, что сказала она; но, выходя, увидел, как она сидит у самой кромки света, словно нищий, который зашел погреться, и представил, что Бог и впрямь ее хранит – или просто любит. Когда я стал записывать, что с нами было, я думал, я пишу про ненависть, но та куда-то ушла, и я знаю одно: Сара ошиблась, она меня бросила, и все же она лучше многих. Пусть хоть кто-то из нас двоих верит в нее – она в себя не верила.

Следующие дни мне было очень трудно сохранять благоразумие. Теперь я работал ради нас двоих. Утром я устанавливал минимум, семьсот пятьдесят слов, но уже к одиннадцати получалась тысяча. Удивительно, что творит надежда,– роман целый год едва тащился, а теперь подходил к концу. Я знал, что Генри уходит на службу примерно в половине десятого, и Сара могла звонить до половины первого. Он стал приходить к ленчу (это мне сказал Паркие), и до трех она звонить не могла. Я решил до 12.30 перечитывать то, что сделал накануне, а потом, когда ждать не надо,– ходить в Британский музей, собирать материал по Гордону. Читать и выписывать проще, чем писать,– не так поглощает, и мысли о Саре становились между мной и миссией в Китае. Я часто думал, почему мне предложили написать именно эту биографию. Лучше бы выбрали того, кто верит в Бога, как Гордон. Я мог понять, что он упорно сидел в Хартуме, здесь его ненавидели политики, но Библия на столе – это чужой мир, не мой. Может быть, издатель надеялся и на то, что мое циничное отношение к его Богу принесет скандальный успех. Что ж, я ему угождать не собирался – это и Сарин Бог, а я не буду побивать камнями даже миф, даже призрак, раз она его любит. В те дни я не питал к нему ненависти – ведь победил-то я.

Как-то я ел свои сэндвичи (почему-то я всегда пачкал их химическим карандашом) и вдруг услышал знакомый голос, тихий, чтобы не помешать читателям:

– Надеюсь, сэр, теперь все хорошо, простите за нескромность. Я поднял глаза и увидел незабвенные усы.

– Очень хорошо, Паркис, спасибо. Сэндвич хотите?

– Нет, сэр, что вы...

– Ладно, ладно. Считайте, это мои расходы. Он робко взял сэндвич, посмотрел и сказал так, словно получил монету, а она оказалась золотая:

– Настоящая ветчина!

– Издатель прислал из Америки.

– Спасибо, сэр.

– У меня стоит ваша пепельница,– прошептал я, ибо мой сосед сердито глядел на меня.

– Она дешевая, просто я к ней привык, – шепотом ответил он.

– Как ваш мальчик?

– Живот побаливает, сэр.

– Не думал вас тут увидеть. Работа? За нами следите? Я никак не мог представить, что унылые читатели – какие-то люди в шляпах и шарфах для тепла, один индус, с трудом преодолевающий собрание сочинений Джордж Элиот, человек, каждый день засыпавший за одной и той же стопкой книг, – участвуют в драме ревности.

– Нет, сэр. Это не работа. У меня выходной, а мальчик уже в школе.

– Что ж вы читаете?

– Судебные отчеты в «Тайме». Сегодня вот дело Рассела. Помогает, сэр, создает фон. Лучше видишь. Отвлекаешься от мелочей. Я служил с одним из свидетелей, сэр. Мы вместе служили. Теперь он прославился, а я – куда там!

– Кто его знает, Паркие.

– Я знаю. То-то и плохо. Дело Болтон, вот мой предел. Когда вышел закон, что по бракоразводным делам нам нельзя давать показания, для моей специальности это был конец. Судьи никогда нас не называют, они вообще нас не любят.

– Никогда об этом не думал, – сказал я как можно теплее. Паркие и тот может тронуть сердце. Теперь, увидев его, я думаю о Саре. Я поехал домой на метро, надеясь, что ее увижу, и сидел, и ждал звонка, и понял – нет, не сегодня. В пять я набрал ее номер, услышал короткие гудки и положил трубку: Генри мог вернуться пораньше, а как мне с ним говорить, я ведь победил, Сара любит меня, она от него уходит. Но если победа откладывается, вынести это не легче, чем затянувшееся поражение.

Телефон зазвонил через восемь дней – совсем не в то время, раньше девяти. Я сказал: «Алло» – и услышал голос Генри.

– Это вы, Бендрикс? – спросил он. Голос был очень странный, и я подумал: «Неужели сказала?»

– Да, это я.

– Очень страшная вещь случилась. Вам надо знать. Сара умерла. Как неестественно мы себя ведем в такие минуты! Я сказал:

– Сочувствую, Генри, сочувствую.

– Вы свободны сейчас?

– Да.

– Приходите, выпьем. Я не могу один.

Ночь я провел у Генри. Я впервые спал у него. Сара лежала в комнате для гостей (она ушла туда за неделю, чтобы не мешать Генри кашлем), и я спал на тахте в той самой комнате, где мы любили друг друга на полу. Я не хотел оставаться на ночь, он упросил.

Наверное, мы выпили больше бутылки виски. Помню, он сказал:

– Как странно, Бендрикс, мертвых ревновать нельзя. Она только что умерла, а я уже позвал вас.

– К чему и ревновать? Это давно кончилось.

– Не утешайте меня, Бендрикс. Это не кончалось ни у нее, ни у вас. Мне повезло. Я все время был с ней. Вы меня ненавидите?

– Не знаю, Генри. Думал – да, а теперь не знаю.

Мы сидели в кабинете, без света. Газ в камине горел так слабо, что мы друг друга не видели, и я мог понять, когда он плачет, только по голосу. «Дискобол» метил в нас из темноты. Я спросил:

– Как это было, Генри?

– Помните, мы встретились перед домом? Недели три-четыре назад? Она в тот вечер простудилась. Лечиться не хотела. Я даже не знал, что затронуты легкие. Она никому ничего не говорила.

«Даже дневнику», – подумал я. Там не было ни слова о болезни. Ей некогда было болеть.

– В конце концов она слегла, – сказал Генри, – но не вылежала и не хотела доктора, она им вообще не верит. Неделю назад она встала и вышла, Бог знает зачем. Сказала, надо пройтись. Я вернулся, а ее нет. Пришла в девять, совсем промокшая – хуже, чем тогда. Наверное, не один час гуляла под дождем. Ночью у нее был жар, она бредила. Не знаю, с кем она говорила – не с вами. не со Мной. Я уговорил вызвать врача. Он сказал, если бы начать пенициллин на неделю раньше, можно было бы ее спасти.

Нам оставалось пить виски. Я думал о Том, кого выследил Паркие по моей воле, – да, Он победил. «Нет, я Генри не ненавижу. Я ненавижу Тебя, если Ты есть». Я вспомнил, как она сказала этому Смитту, что я научил ее верить. Не знаю уж, каким образом, но я и себя ненавижу, когда подумаю, что потерял!

– Она умерла в четыре, под утро, – сказал Генри, – меня там не было. Сестра не позвала.

– Где сестра?

– Все прибрала и ушла. У нее срочный случай.

– Я бы хотел вам помочь.

– Вы и помогаете, вы ведь сидите со мной. Какой был страшный день, Бендрикс! Я всегда думал, я умру первым, – я ведь не знаю, как быть, когда кто-то умер, а Сара знала бы. Если бы осталась со мной, конечно. В сущности, это женское дело, как роды.

– Наверное, доктор помог?

– У него очень много дел. Он вызвал служащего из конторы. Я бы не знал, куда идти, у нас нет справочника. Но доктор не скажет, куда девать вещи. Полные шкафы. Духи, пудра – ведь не выбросишь... Если бы у нее была сестра...

Он вдруг замолчал, потому что дверь открылась и закрылась, как тогда, когда он сказал: «Это служанка», а я: «Это Сара». Мы прислушались к служанкиным шагам, она шла наверх. Удивительно, какой дом пустой, хотя в нем трое! Мы выпили, я налил еще.

– У меня его много, – сказал он, – Сара нашла... – и он снова остановился. Она была в конце любой тропы. Мы не могли обойти ее никак. Я подумал: «Почему Ты это с нами сделал? Если

бы она в Тебя не верила, она была бы жива, мы с ней так и были бы вместе». Странно и печально, что мне еще что-то не нравилось. Я бы прекрасно делил ее сейчас с Генри. Я спросил:

– А похороны?

– Бендрикс, я не знаю, как быть. Случилась очень странная вещь. Когда она бредила, сама себя не понимала, сестра слышала, что она зовет священника. Во всяком случае, она говорила: «Отец, отец!» – а отца у нее нет. Конечно, сестра знала, что мы не католики. Она разумная женщина. Она ее успокоила. Но я не знаю, как быть, Бендрикс.

Я злобно, горько подумал: «Бедного Генри Ты бы мог не трогать. Мы без Тебя обходились. Зачем Ты вмешался в нашу жизнь, как дальний родственник с края света?»

Генри сказал:

– Когда живешь в Лондоне, кремация – проще всего. Я думал похоронить на Голдерз-Грин, сестра все объяснила. Этот служащий звонил в крематорий. Они могут назначить на послезавтра.

– Она бредила, – сказал я. – Не надо обращать внимания.

– Я думал, не спросить ли священника. Она так много скрывала. Вполне может быть, она стала католичкой. Она была странная последнее время.

– Нет, Генри, она ни во что не верила. Не больше нас с вами, – сказал я. Я хотел, чтобы ее сожгли. Я хотел сказать: «Воскреси это тело, если можешь». Моя ревность не кончилась с ее смертью. Все было так, словно она жива, словно она с другим – с тем, кого она предпочла мне. Как я хотел бы послать Паркиса, чтобы он помешал им в вечности!

– Вы уверены?

– Совершенно уверен.

Я думал: «Надо быть осторожным. Я – не Ричард Смитт, я не должен ненавидеть, я ведь тогда поверю, а это – Твоя и ее победа». Неделю назад я должен был только сказать ей: «Помнишь, как у меня не было шиллинга для счетчика?» – и мы бы сразу оба все увидели. Теперь могу увидеть я один. Она потеряла навсегда все наши воспоминания, словно, умерев, украла у меня часть личности. Вот он, первый мой шаг к смерти – воспоминания отваливаются, как гангренозная рука.

– Терпеть не могу этих молитв, могильщиков, – сказал Генри. – Но Сара так хотела, я попытаюсь все устроить.

– Она выходила замуж не в церкви, – сказал я. – Зачем же ее в церкви хоронить?

– Да, верно.

– Гражданский брак и кремация, – сказал я, – одно к другому, – и Генри поднял голову в темноте, словно заподозрил насмешку. – Поручите все мне, – сказал я у того самого камина, в той самой комнате, где предлагал пойти за него к Сэвиджу.

– Спасибо, Бендрикс, – сказал он и очень бережно вылил в стаканы остаток виски.

– Первый час, – сказал я, – вам пора спать. Если сможете.

– Доктор дал таблетки.

Но он не хотел остаться один. Я знал, что он чувствует – после дня с Сарой я старался, сколько мог, не сидеть один в комнате.

– Все забываю, что она умерла, – сказал Генри.

И у меня это было целый год, несчастный 45-й, – проснусь и не помню, что мы не вместе, что может позвонить кто угодно, только не она. Тогда она была такая же мертвая, как сейчас. В этом году месяц-другой призрак мучил меня надеждой, но призрак исчез, боль скоро пройдет. С каждым днем я буду умирать понемногу. Как я хотел задержать эту боль! Пока ты страдаешь, ты жив.

– Идите ложитесь, Генри.

- Я боюсь увидеть ее во сне.
- Примите пилюли, не увидите.
- Вам не надо?
- Нет.
- Вы не останетесь на ночь? Погода плохая.
- Ничего.
- Я вас очень прошу.
- Ну, конечно останусь.
- Я принесу белье.

– Не беспокойтесь. Генри, – сказал я, но он ушел. Я глядел на паркет и вспоминал точно, как звучит ее крик. На ее письменном столике лежали всякие вещи, и каждая что-то значила для меня, словно код. Я думал: «Она даже камешек не выбросила. Мы смеялись, какой он странной формы, и вот лежит, как пресс-папье. Что с ним сделает Генри, и с крохотной бутылочкой ликера, и со стеклышком, которое отшлифовало море, и с деревянным кроликом, которого я нашел в Ноттингеме? Забрать их? Ведь выбросят в корзину, когда Генри сможет убирать. Но как жить с ними рядом?»

Я смотрел на них, когда Генри принес белье.

– Забыл сказать, Бендрикс. Может, вы хотите взять что-нибудь? Наверное, она не оставила завещания.

- Спасибо.
- Я благодарен теперь всем, кто ее любил.
- Если вы не против, я возьму камень.
- Она хранила такие странные вещи. Вот вам моя пижама.

Он забыл принести наволочку, и, лежа прямо на подушке, я думал, что ощущаю Сарин запах. Спать я не мог. Я впился ногтями в ладони, как она, чтобы боль не давала мне думать. Маятник желаний устало качался туда-сюда -я хотел забыть и помнить, умереть и пожить еще. Наконец я уснул. Я шел по Оксфорд-стрит, волновался, что мне надо купить подарок, а в магазинах -дешевые безделушки, сверкающие в скрытом свете. Иногда мне казалось, что вот что-то хорошее, я подходил к витрине, но опять была дешевка – скажем, уродливая зеленая птица с красными глазами, которые издали были как рубины. Времени оставалось мало, я спешил. Вдруг из одного магазина вышла Сара, и я понял, что она мне поможет.

«Ты что-нибудь купила?» – спросил я.

«Не здесь, – сказала она. – Подальше есть красивые бутылочки».

«У меня нет времени, – сказал я. – Помоги мне. Надо что-то купить, завтра день рождения».

«Не волнуйся, – сказала она. – Все всегда улаживается. Не страдай». И я успокоился.

Улица уходила в поле, в серый туман, я шел босой по росе, споткнулся на колее и проснулся, еще слыша: «Не страдай», – словно шепот, словно летний звук, оставшийся с детства.

Генри еще спал, когда подкупленная Паркисом служанка принесла мне кофе и тосты. Она раздвинула занавески, теперь шел только снег. Я еще не проснулся толком, очарование сна не исчезло, и удивился, что глаза у нее красные от слез.

– Что случилось, Мод? – сказал я.

Она резко поставила поднос, выскочила, и тут я совсем проснулся в пустом доме, в пустом мире. Я пошел наверх, к Генри. Он спал тяжелым, неестественным сном, улыбаясь, как пес, и я ему позавидовал. Потом я вернулся и попробовал съесть тосты.

Зазвонил звонок, служанка повела кого-то наверх – человека из бюро, наверное, ведь они пошли в комнату для гостей. Он видит Сару, я – нет, но я и не хотел, это все равно что увидеть ее с другим. Некоторых это возбуждает, только не меня. Я собрался с силами и стал думать:

«Теперь все и впрямь кончено, надо начинать сначала. Когда-то я влюбился, надо влюбиться опять». Ничего не вышло, словно я стал бесполом.

Опять позвонили. Сколько в доме дел, пока Генри спит! На сей раз Мод зашла ко мне. Она сказала:

– Там человек спрашивает мистера Майлза, а я не хочу его будить.

– Кто именно?

– Это приятель миссис Майлз, – так выдала она, что принимала участие в наших жалких кознях.

– Ведите его сюда, – сказал я. Я чувствовал, насколько я выше Смитта здесь, в ее гостиной, в пижаме Генри. Я столько знаю о нем, он обо мне не знает. Он смущенно глядел на меня, стряхивая снег. Я сказал:

– Мы как-то встречались. Я друг миссис Майлз.

– С вами был мальчик.

– Да, был.

– Я хочу повидать мистера Майлза, – сказал он.

– Вы уже слышали?

– Потому я и пришел.

– Он спит. Врач дал ему таблетки. Это большой удар для нас, – глупо прибавил я.

Смитт оглядывался. На Седар-роуд Сара приходила ниоткуда, у нее не было измерений, как во сне. Здесь она уплотнилась. Комната – это тоже Сара. Снег медленно стекал на порог, словно земля с лопаты. Комнату хоронили, как Сару.

Он сказал:

– Я еще приду, – и уныло повернулся, той щекой ко мне. Я подумал:

«Вот что тронули ее губы». Ее всегда было легко разжалобить. Он глупо повторил:

– Я пришел повидать мистера Майлза. Выразить...

– В таких случаях пишут.

– Я думал, я могу помочь. – тихо сказал он.

– Мистера Майлза обращать не надо.

– Обращать?

– Убеждать, что от нее ничего не осталось. Что это конец. Совершеннейший.

Вдруг он сорвался:

– Я хочу ее видеть, вот и все.

– Мистер Майлз ничего о вас не знает. Зря вы пришли сюда, Смитт.

– Когда похороны?

– Завтра, на Голдерз-Грин.

– Она была бы против, – неожиданно сказал он.

– Она ни во что не верила, – сказал я. Он сказал:

– Разве вы оба не знаете? Она хотела стать католичкой.

– Чепуха какая.

– Она мне писала. Она решила твердо. Я не мог ее убедить. Она проходила... катехизацию.

Так у них говорят?

«Значит, у нее и сейчас есть тайны, – подумал я. – Об этом она не писала, как и о болезни. Что же еще предстоит узнать?» Мысль эта была как отчаяние.

– Вы очень огорчились, да? – спросил я, пытаясь перенести на него свою боль.

– Конечно, я рассердился. Но ведь нельзя всем верить в одно и то же.

– Раньше вы не так говорили.

Он посмотрел на меня, словно удивился, что я так злюсь. Он сказал:

– Вас не Морис зовут?

– Именно так.

– Она мне про вас говорила.

– А я про вас читал. Она нас обоих оставила в дураках.

– Я себя глупо вел, – сказал он. – Как вы думаете, смогу я ее увидеть? И я услышал тяжелые шаги человека из бюро. Скрипнула та самая ступенька.

– Она лежит наверху. Первая дверь слева.

– А мистер Майлз...

– Его вы не разбудите.

Когда он пришел опять, я уже оделся. Он сказал:

– Благодарю вас.

– Не благодарите, – ответил я. – Она не моя, как и не ваша.

– Я не вправе просить, – сказал он, – но я бы хотел... Вы ведь любили ее. – И он прибавил, словно проглотил горькую пилюлю: – Она вас любила.

– Что вы пытаетесь сказать?

– Я бы хотел, чтобы вы для нее...

– Для нее?

– Пусть ее похоронят по-церковному. Она бы об этом просила.

– Какая теперь разница?

– Никакой, наверное. Но всегда лучше быть добрым. «Ну, это уж слишком! – подумал я. – Чепуха какая», – и мне захотелось расшевелить похороненную комнату смехом. Я сел на тахту и стал просто трястись. Наверху – мертвая Сара, спящий Генри, а поклонник с пятнами и любовник, нанявший сыщика, обсуждают похороны. Парки из-за меня пудрил у него звонок! Слезы текли по щекам, так я смеялся. Однажды я видел человека, который смеялся у развалин дома, где погибли его жена и дети.

– Не понимаю, – сказал Смитт. Он сжал правый кулак, словно думал защищаться. Мы столько всего не понимали... Боль, будто взрыв, бросила нас друг к другу.

– Я пойду, – сказал он и нащупал левой рукой ручку двери. Я не думал, что он левша, и странная мысль меня посетила.

– Простите, – сказал я. – Я не в себе. Мы все не в себе, – и протянул ему руку. Он не сразу тронул ее левой рукой.

– Смитт, – сказал я, – что вы там взяли? Вы ведь что-то взяли у нее? Он разжал ладонь, я увидел прядь волос.

– Вот, – сказал он.

– Какое вы имели право?

– Теперь она никому не принадлежит, – сказал он, и вдруг я увидел, что она теперь – падаль, которую надо убрать. Хочется взять волосы – берите, или обрезки ногтей, если вам нужно. Можно делить ее мощи, как со святыми. Скоро ее сожгут, почему ж не расхватать что требуется? Нет, какой я дурак, три года думал, что она – моя! Мы не принадлежим никому, даже самим себе.

– Простите, – сказал я.

– Вы знаете, что она мне написала? – спросил он. – Только четыре дня назад, – и я горько подумал, что у нее было время писать ему, но не было, чтобы звонить мне. – Она написала: «Молитесь обо мне». Странно, правда, чтобы я молился за нее?

– Что же вы сделали?

– Когда я услышал, что она умерла, я помолился.

– Вы знаете молитвы?



– Нет.

– Хорошо ли молиться тому, в кого не веришь?

Я вышел вместе с ним – незачем было ждать, пока Генри проснется. Рано или поздно он поймет, что он совсем один, как понял я. Глядя, как Смитт идет впереди, я думал: «Истерик. Неверие может быть истерическим, как вера». Ботинки у меня промокли в растоптанном снегу, и я вспомнил росу из сна, но когда я захотел вспомнить голос, говоривший: «Не страдай», – я не смог, я не помню звуков. Я бы не мог и передразнить ее – пытаюсь припомнить, а слышу просто голос, никакой, ничей, разве что женский. Вот, начал ее забывать. Надо хранить пластинки, как мы храним фотографии.

Я поднялся в холл по разбитым ступенькам. Все теперь было другое, чем тогда, только старинное стекло осталось. Сара действительно верила, что конец начался, когда она увидела мое тело. Она не признала бы, что он начался давно – меньше было звонков по самым нелепым причинам, я ссорился с ней, почуяв, что любовь кончается. Мы стали заглядывать за край любви, но знал это я один. Упади снаряд раньше на год, она бы такого не пообещала. Она бы ногти содрала, вытаскивая меня из-под Двери. Когда покончишь с человеком, с людьми, приходится думать, что веришь в Бога, – так гурману непременно нужно что-нибудь остренькое. Я оглядел холл, чистый, словно камера, выкрашенный мерзкой зеленой краской, и подумал: «Она хотела, чтобы я попробовал снова, и вот вам – пустая жизнь, чистая, без заразы, без запаха, как в тюрьме», – и обвинил ее, будто ее молитвы действительно все переменяли: «За что ты приговорила меня к жизни?» Ступеньки и перила были совсем новые. Она никогда не ходила по этой, такой лестнице. Даже ремонт и тот помогал забыть ее. Когда все меняется, чтобы помнить, нужен Бог, обитающий вне времени. Любил я еще или только жалел о любви?

Я вошел к себе, и на столе лежало письмо от Сары. Двадцать четыре часа ее нет, сознание она потеряла еще раньше. Как же это письмо так долго пересекало Коммон? Тут я заметил, что она спутала номер дома, и бывшая горечь едва не вернулась ко мне. Два года назад она бы номер не забыла.

Видеть ее почерк было так трудно, что я чуть не сжег письмо, но любопытство подчас сильнее боли. Писала она карандашом – видимо, потому, что не могла встать с постели.

"Морис, дорогой, – писала она, – я хотела написать вчера, как только ты ушел, но дома мне стало плохо, и Генри всполошился. Я пишу, а не звоню. Я не могу услышать, какой у тебя будет голос, когда я скажу, что не уйду к тебе. Я ведь не уйду, Морис, дорогой, дорогой. Я тебя люблю, но не смогу опять увидеть. Не знаю, как я буду жить в такой тоске и в горе, и молю Бога, чтобы он меня пожалел, забрал отсюда. Морис, я хочу и невинность соблюсти, и капитал приобрести, как все люди. За два дня до того, как ты позвонил, я пошла к священнику и сказала, что я обратилась. Я рассказала ему про тебя и про обет. Я сказала, мы ведь с Генри больше не женаты – я с ним не сплю с тех пор, как мы с тобой, и вообще это не брак, мы же не венчались в церкви. Я спросила, нельзя ли мне стать католичкой и выйти за тебя замуж. Я знала, что ты на это согласишься. Каждый раз, как я спрашивала, я надеялась, будто открываешь ставни в новом доме и ждешь, что пейзаж красивый, а за окном - глухая стена. Он говорил:

«Нет», «нет», «нет», я не могу выйти замуж, я не могу с тобой видеться, если стану католичкой. Я подумала: «Ну их к черту!» – и ушла, и хлопнула дверью, чтобы он знал, как я отношусь к священникам. «Они стоят между нами и Богом, – подумала я, – Бог милостивей их», – и тут я увидела распятие и подумала: «Конечно, Он-то милостив, только странная это милость, иногда кажется – Он скорее наказывает...» Морис, дорогой, у меня страшно разболелась голова, я просто мертвая. Ах, если бы я не была такая сильная, как лошадь! Я не хочу без тебя жить, и, конечно, я тебя встречу как-нибудь между твоим домом и моим и плюну на Генри, на Бога, на все. Но что толку? Я верю, что Бог есть, – теперь я верю в кучу разных вещей, я во что

хочешь верю, пусть делят Троицу на двенадцать частей, я поверю. Пусть найдут доказательства, что Христа выдумал Пилат, чтобы выслужиться, я все равно верю. Я заболела, подхватила веру, как подхватывают заразу. Вот про любовь говорят – «влюбилась», а про веру? Я никого не любила до тебя и ни во что не верила до сих пор. Когда ты вошел, на лице у тебя была кровь, я и поверила, раз и навсегда, хотя тогда сама о том не знала. Я боролась с верой дольше, чем с любовью, теперь бороться не могу.

Морис, дорогой, не сердись. Пожалей меня, только не сердись. Я ломака, я врунья, но тут я не ломаюсь и не обманываю.

Раньше я думала, что я знаю себя, различаю добро и зло, а ты научил меня не быть такой уверенной. Ты забрал всю мою ложь, весь самообман, чтобы они не мешали подойти ко мне, вот Он и пришел, ты же сам расчистил дорогу. Когда ты пишешь, ты стараешься писать правду, и меня научил искать ее. Ты говорил мне, если я лгала. Ты спрашивал: «Ты в самом деле так думаешь или тебе это кажется?» Вот видишь, это все ты, Морис, ты и виноват. Я молю Бога, чтобы Он не оставил меня жить так, как сейчас".

Больше ничего не было. Видно, на ее молитвы отвечали раньше, чем она помолится, ведь она стала умирать, когда вышла в дождь, а потом застала меня с Генри. Если бы я писал роман, я бы его здесь кончил – я всегда думал, что роман можно кончать где угодно, но теперь мне кажется, что я никаким реалистом не был, ведь в жизни ничто не кончается. Химики говорят, что материя не исчезает, математики – что если делить шаги надвое, мы не дойдем до другой стены; каким же я был бы оптимистом, если бы решил, что роман тут и кончится! Сара жалела, что она сильная, как лошадь, – вот и я тоже.

На похороны я опоздал. Я поехал в город, чтобы повидаться с неким Уотербери, который думал написать обо мне статью для небольшого журнала. Я все прикидывал, встречаться с ним или нет – я и так знал, какие пышные фразы он напишет, какой откроет подтекст, неведомый мне самому, какие ошибки, от которых я сам устал. Под конец он снисходительно отведет мне место – ну, чуть повыше Моэма, ведь Моэм популярен, а я еще до этого не унился.

Почему я, собственно, прикидывал? Я не хотел встречаться с ним и уж точно не хотел, чтоб обо мне писали. Дело в том, что я больше не интересуюсь своим делом и никто не может угодить мне хвалой, повредить хулой. Когда я начинал тот роман про чиновника – интересовался, когда Сара меня бросила, понял, что работа моя – чепуховый наркотик, вроде сигареты, который помогает влачить дни и годы. Если смерть уничтожит нас (я еще стараюсь в это верить), велика ли разница, оставили мы несколько книг или флакончики, платья, безделушки? Если же права Сара, как не важно все это важное искусство! Наверное, я гадал – идти или нет – просто от одиночества. Мне нечего было делать до похорон, я хотел выпить – можно забыть о работе, но не об условностях, нельзя же сорваться на людях.

Уотербери ждал в баре на Тоттнем-Корт-роуд. Он носил черные вельветовые брюки, курил дешевые сигареты и привел какую-то слишком красивую, высокую девушку. Девушка эта, очень молодая, звалась Сильвией. Сразу было видно, что она проходит долгий курс, начавшийся с Уотербери, и пока что во всем подражает учителю. Глаза у нее были живые, добрые, волосы – золотые, как на старинных картинках, и я думал: докуда же она дойдет? Вспомнит ли она через десять лет Уотербери и этот бар? Я пожалел его. Он так важничал, так покровительственно смотрел на нас, а ведь слабый-то он. «Да что там, - подумал я, когда он разглагольствовал о потоке сознания, – вот она глядит на меня, я бы и сейчас мог ее увести». Его статьи печатались в дешевых журнальчиках, мои книги выходили отдельными томиками. Она знала, что от меня научится более важным вещам. А он, бедняга, еще одергивал ее, когда она вставляла какую-нибудь простую человеческую фразу! Я хотел его предупредить, но вместо этого выпил еще хересу и сказал:

– Я спешу. Надо на похороны, на Голдерз-Грин.

– Голдерз-Грин! – восхитился Уотербери.– Совсем в вашем духе! Ведь вы бы выбрали это кладбище, верно?

– Не я его выбрал.

– Жизнь подражает искусству!

– Это ваш друг? – участливо спросила Сильвия, и Уотербери с упреком взглянул на нее.

– Да.

Я видел, что она гадает, кто это, друг или подруга, и был тронут. Значит, я для нее – человек, а не писатель. Человек, у которого умирают друзья, он их хоронит, страдает, радуется, даже нуждается в утешении, а не умелый мастер, получше Моэма, «но все же мы не вправе ставить его так высоко, как...».

– Какого вы мнения о Форстере? –спросил Уотербери.

– О Форстере? Простите, пожалуйста. Я думал, долго ли ехать до кладбища.

– Минут сорок,– сказала Сильвия.– Поезда редко ходят.

– Форстер...– сердито повторил Уотербери.

– От станции идет автобус,– сказала Сильвия.

– Сильвия, мистер Бендрикс пришел не для того, чтоб говорить об автобусах.

– Прости, Питер. Я думала...

– Прежде, чем думать, сосчитай до шести. Так вот, Форстер...

– Да Бог с ним,– сказал я.

– Нет, это важно, ведь вы принадлежите к разным школам...

– Он принадлежит к школе? А про себя и не знал... Вы что, учебник пишете?

Сильвия улыбнулась, и он это заметил. Теперь он меня не пощадит, понял я, но мне было все равно. Гордость и равнодушие похожи, и он, наверное, подумал, что я горд. Я сказал:

– Мне действительно пора.

– Да вы просидели здесь пять минут,– сказал он.– Очень важно, чтобы в статье все было правильно.

Очень важно не опоздать на похороны.

– Не понимаю почему. Сильвия сказала:

– Мне самой надо в Хампстед. Я покажу вам, как ехать.

– В Хампстед? – ревниво спросил Уотербери.– Не знал.

– Я же всегда езжу к маме по средам.

– Сегодня вторник.

– Значит, завтра не поеду.

– Спасибо,– сказал я.– Очень рад.

– Вы использовали поток сознания,– отчаянно заспешил Уотербери. – Почему вы бросили этот прием?

– Понятия не имею. Почему мы меняем квартиру?

– Вы разочаровались в нем?

– Я во всех своих книгах разочаровался. Ну, до свиданья.

– Статью я вам пришлю,– угрожающе сказал он.

– Спасибо.

– Не задерживайся, Сильвия.

В полседьмого мы идем на Бартока. Мы углубились в улочки Тоттнем-Корт-роуд. Я сказал:

– Спасибо, что увели.

– Да, я видела, что вы хотите уйти.

– Как ваша фамилия?

– Блейк.

– Сильвия Блейк. Хорошо. Даже слишком.

– Это близкий друг?

– Да.

– Женщина?

– Да.

– Какая жалость,– сказала она, и мне показалось, что ей вправду жаль. Многому надо ей учиться – литературе, музыке, беседе, но не доброте. Она влезла вместе со мной в переполненное метро, и мы ухватились за поручни. Ее прижало ко мне, и я вспомнил, что такое желание. Неужели теперь всегда так будет? Не желание, только память о нем. Она пропустила человека, вошедшего на «Гудж-стрит», и я ощутил, что ее нога прижимается к моей,– ощутил так, словно это было очень давно.

– Я никогда не бывал на похоронах,– сказал я, чтобы завязать разговор.

– Значит, ваши родители живы?

– Отец жив. Мать умерла, когда я был в школе, не в городе. Я думал, меня отпустят, но отец решил, что это слишком тяжелое зрелище. Так что ничего и не было. Только разрешили не готовить уроки в тот день.

– Я бы не хотела, чтоб меня сожгли,– сказала она.

– Предпочитаете червей?

– Да.

Мы были так близко, что могли не повышать голоса, но не могли посмотреть друг на друга, люди мешали. Я сказал:

– А мне что так, что так,– и тут же удивился, зачем я лгу, мне ведь совсем не все равно, это же я убедил Генри.

Вчера вечером Генри проявил слабость, он позвонил мне, попросил прийти. Удивительно, как сблизила нас Сарина смерть. Теперь он зависел от меня, как прежде – от Сары, все же я знал их дом. Я даже думал, не предложит ли он жить вместе и что я ему отвечу. Забыть Сару трудно и в том доме, и в этом, она связана с ними обоими.

Когда я пришел, он еще не совсем проснулся после снотворного, иначе мне было бы с ним труднее. В кабинете на краю кресла сидел священник – видимо, из этих редемптористов [Редемптористы – монашеский орден, основанный в XVIII веке св. Альфонсом Лигу-ори], которые по воскресеньям служат черту в темной церковке, где я расстался с Сарой. Лицо у него было хмурое, кислое. Он явно спорил с Генри.

– Это мистер Бендрикс, вы знаете, писатель,– сказал Генри.– Отец Кромптон. Мистер Бендрикс очень дружил с моей женой.

Мне показалось, что Кромптон и сам это знает. Нос тянулся по его лицу, как контрфорс по стене. Может быть, этот самый человек захлопнул перед Сарой дверь надежды.

– Добрый день,– сказал священник так неприветливо, что я ощутил, как близко колокола и свечи.

– Мистер Бендрикс очень помог мне с похоронами,– объяснил Генри.

– Я бы тоже помог.

Когда-то я ненавидел Генри. Что за чушь! Генри – жертва, как и я, а победитель – вот этот мрачный человек в дурацком воротничке. Я сказал:

– Наверяд ли. Вы ведь против кремации.

– Я бы похоронил ее по-христиански.

– Она не христианка.

– Она собиралась ею стать.

– Разве этого достаточно? отриц Кромптон выложил формулу как банкноту:

– Мы признаем крещение намерения.

Банкнота лежала перед нами, ждала, что мы ее подберем. Никто не шевельнулся.

Священник сказал:

– Вы еще успеете все отменить. Остальное я возьму на себя. Говорил он так, словно увещевал леди Макбет, обещая ей, чтобы отмыть руки, нечто лучшее, чем все аравийские благовония.

– Неужели и впрямь это так важно? – вдруг сказал Генри. – Конечно, я не католик, но я не понимаю...

– Она была бы счастливей...

– Да почему же?

– Церковь дает свои блага, мистер Майлз, и берет на себя многие обязанности. Есть заупокойные службы, постоянные молитвы. Мы помним наших мертвых, – добавил он, а я подумал: «Как вы их помните? Теории у вас хорошие. Вы говорите, что каждый человек важен. Волосы сочтены – но я просто чувствую рукой ее волосы, я не забыл тонкий пушок пониже затылка, когда она лежала на моей кровати лицом вниз. Мы тоже помним своих мертвых».

Заметив, что Генри поддается, я бестрепетно солгал:

– У нас нет совершенно никаких оснований думать, что она обратилась.

– Правда, сестра сказала... – начал Генри, но я не дал ему кончить:

– Она бредила перед смертью. Отец Кромптон сказал:

– Я бы никогда не посмел вмешаться, мистер Майлз, если бы у меня не было серьезных оснований.

– За несколько дней до смерти, – сказал я, – миссис Майлз написала мне. Когда вы ее видели?

– Примерно тогда же. Дней пять-шесть назад.

– Очень странно, что она об этом не пишет.

– Возможно... да, возможно, она не вполне доверяла вам.

– Возможно, вы спешите с выводами. Многие интересуются вашей верой, спрашивают о ней, но совсем не собираются стать католиками. – Я быстро обернулся к Генри: – Глупо все менять. Распоряжение отдали, народ пригласили. Сара не была фанатичной. Кто-кто, а она бы не хотела никого беспокоить из-за прихоти. В конце концов, – я глядел на Генри, – все может быть вполне по-христиански. Конечно, Сара не христианка. Мы не видели никаких признаков. Но вы дадите отцу Кромптону денег на мессу...

– Не нужно. Я утром отслужил. Он впервые шевельнулся, повел рукой, словно увидел, что покачнулась стена, и пригнулся, хотя бомба уже упала. – Я буду поминать ее каждый день.

– Спасибо, отец, – с облегчением сказал Генри, как будто это все улаживало. И подвинул сигареты.

– Не совсем удобно говорить это, мистер Майлз, но, видимо, вы не понимаете, какой хороший человек ваша жена.

– Я ее очень любил, – сказал Генри.

– Многие любили ее, – сказал я.

Отец Кромптон взглянул на меня как учитель, которого перебил самый сопливый ученик с задней парты.

– Быть может, недостаточно, – сказал он.

– Что ж, – сказал я, – если вернуться к нашей теме, переиграть уже нельзя. Потом, это вызовет толки. Вы не хотите толков, Генри?

– Ни в коем случае!

– В «Тайме» есть объявление. Пришлось бы писать снова. Люди замечают такие вещи. Пойдут сплетни. Вы не кто-нибудь, Генри. И телеграммы придется посылать. Многие отправили в крематорий венки. Вы понимаете...

– Не совсем.

– То, о чем вы просите, неразумно.

– Мне кажется, мистер Бендрикс, у вас очень странная система ценностей.

– Вы же не верите, что кремация не даст телу воскреснуть?

– Конечно, не верю. Я свои доводы привел. Если мистери Майлзу их недостаточно, говорить не о чем.

Он встал, и только тут я увидел, как он уродлив. Сидя он хотя бы казался величественным, но у него были слишком короткие ноги. Он был маленький и словно бы отошел куда-то далеко.

Генри сказал:

– Если бы вы пришли чуть пораньше, отец... Прощу вас, не думайте...

– Я ничего плохого не думаю о вас, мистер Майлз.

– Наверное, думаете обо мне? – с вызовом спросил я.

– Не беспокойтесь, мистер Бендрикс. Вы уже не можете ей повредить. Наверное, наслушавшись исповедей, легко опознать ненависть. Он протянул Генри руку, повернувшись ко мне спиной. Я хотел сказать: «Вы неправы. Не ее я ненавижу. И насчет Генри вы ошиблись. Он развратил ее, не я». Я хотел себя защитить: «Я любил ее», – но ведь, наслушавшись исповедей, они умеют различить и любовь.

– Следующая – Хампстед, – сказала Сильвия.

– Вам надо к матери?

– Я выйду на Голдерз-Грин, покажу дорогу. По вторникам я к ней не хожу.

Она проводила меня до станции и хотела уйти. Я все удивлялся, зачем она так беспокоится. Никогда не видел в себе ничего, что может понравиться женщинам, а теперь – тем более. Горе и досада – как ненависть, человек становится уродливым от жалости к себе. И каким эгоистом к тому же! Я не мог стать для Сильвии учителем, я ничего не мог ей дать, но я боялся того, что меня ждет в ближайшие полчаса. Если я буду один, за мной будут шпионить, пытаюсь понять, кем я был Саре, кто кого бросил. С красивой Сильвией – дело другое.

– Как же я пойду, я так одета!.. – запротестовала она. Я видел, что она польщена. Я знал, что могу увести ее от Уотербери. Его карта бита. Если я захочу, он будет слушать Бартока один.

– Мы станем сзади, – сказал я. – Может быть, вы просто шли мимо.

– Спасибо, хоть черные, – сказала она про брюки. В такси я положил ей впрок руку на колено, но дальше действовать не хотел. Труба в крематории дымилась, на посыпанных гравием дорожках полузастыли лужи. Навстречу шло много людей, с других похорон, и вид у них был такой бодрый, словно они сбежали из скучных гостей.

– Вот тут, – сказала Сильвия. Вы хорошо знаете эти места.

– Папу хоронили, два года назад.

Когда мы пришли в часовню, все расходились. Расспросы про поток сознания слишком задержали меня. Боль как-то странно, условно меня кольнула. Я так и не увидел мертвую Сару и тупо подумал, что это ее дым стлался над пригородными садами. Генри шел один, ничего не различая; он плакал и меня не заметил. Других я не знал, кроме Мэллока, тот был в цилиндре. С неудовольствием взглянув на меня, он быстро прошел мимо. Человек пять были, видимо, чиновниками. Был ли среди них Данстан? Но это не очень важно. С мужьями шли жены. Кому-кому, а им церемония понравилась, я понимал это даже по их шляпам. Когда Сары нет, женам как-то легче.

– Простите, – сказала Сильвия.

– Вы не виноваты.

Я думал: «Если бы мы ее набальзамировали, женам никогда бы не знать покоя. Их можно было бы сравнивать и с мертвым телом».

Вышел Смитт и быстро зашлепал по лужам, ни с кем не заговаривая. Какая-то дама сказала:

– Картеры нас пригласили на уик-энд.

– Уйти мне? – спросила Сильвия.

– Нет, нет, – сказал я. – Мне с вами лучше.

Я подошел к часовне и заглянул туда. Дорожка к печи была сейчас пуста, одни венки вынесли, другие вносили. В углу молилась старая женщина, словно актер из другой пьесы, оказавшийся на сцене, когда вдруг подняли занавес. Сзади послышался знакомый голос:

– Печальная встреча, сэр. Рад вас встретить там, где все обиды кончаются.

– И вы тут, Паркие! – воскликнул я.

– Увидел объявление в «Тайме», сэр, и отпросился у мистера Сэ-виджа.

– Вы всегда провожаете досюда своих подопечных?

– Она была очень хорошая, сэр, – с упреком сказал он. – Как-то она спросила у меня дорогу.

А у них, на этой вечеринке, дала мне бокал хереса.

– Южноафриканского? – жалобно спросил я.

– Не знаю, сэр, но как она его давала... Мало таких, как она. И мальчик, он тоже... Все время о ней говорит.

– Как он?

– Хворает, сэр. Совсем расхворался. Живот болит.

– Врач был?

– Нет еще, сэр. Я верю в природу. До поры до времени, конечно. Я оглядел чужих людей, знавших Сару, и спросил:

– Кто они, Паркие?

– Девицу я не знаю, сэр.

– Она со мной.

– Простите. Вон сэр Уильям Мэллок.

– Его я знаю.

– Джентльмен, который обошел лужу, – начальник отдела.

– Данстан? • – Именно, сэр.

– Сколько вы знаете, Паркие!

Я думал, ревности нет, я соглашался разделить ее с кем угодно, только бы она жила, но тут проснулась былая ненависть.

– Сильвия! – позвал я, словно Сара меня слышит. – Где вы сегодня обедаете?

– Я обещала Питеру...

– Питеру?

– Ну, Уотербери.

– Плюньте.

«Здесь ты? – спросил я Сару. – Смотришь ты на меня? Видишь, я без тебя обхожусь. Это нетрудно». Ненависть могла верить в посмертную жизнь; только любовь знала, что Сара мертва, как мертвая птица.

Входили новые люди, и женщина у перилец растерянно встала. Она чуть не влезла в чужие похороны.

– Я бы хотела позвонить...

Ненависть, словно скука, застилала вечер. Теперь, не любя, я должен был играть любовь и чувствовал вину еще до преступления – зачем я втянул в свой лабиринт невинную жертву?

Половой акт может быть полной ерундой, но в мои годы знаешь, что он может стать и всем на свете. Я-то в безопасности, а вот в этом ребенке вдруг да и сработает какой-нибудь невроз. В конце вечера я буду очень неловок, и сама эта неловкость (или даже бессилие) может тронуть ее, а если я проявлю прыть, и это способно тронуть. Я попросил Сару: «Вызволи меня, вызволи, ради нее, не ради меня».

Сильвия сказала:

– Я скажу, мама больна.

Вот, готова солгать. Питеру конец. Бедный он бедный! Теперь мы с ней сообщники. Она стояла в черных штанах, среди подмерзших луж, а я думал:

«Тут и начнется долгое будущее...» – и попросил Сару: «Вызволи! Я не хочу ее обижать. Я не могу любить никого. Кроме тебя». Седая женщина спешила ко мне по лужам.

– Вы не мистер Бендрикс? – спросила она.

– Да.

– Сара мне говорила...– сказала она и замялась, а я глупо понадеялся, что она что-то передаст мне, что мертвые могут говорить.– Она говорила, что вы ее лучший друг.

– Один из друзей.

– А я ее мать.

Я даже не помнил, что мать жива. У нас было столько тем, что целые страны нашей жизни оставались белыми, как на карте,– потом закрасим...

– Вы и не слышали обо мне?

– В сущности...

– Генри меня не любил, так что я держалась подальше. Она говорила разумно, спокойно, а слезы лились сами собой. Мужья с женами ушли, чужие люди проходили мимо нас троих в часовню. Паркие думал, видимо, что чем-то может помочь мне, но стоял в стороне, как он бы сказал – знал свое место.

– Я хочу попросить вас о большой услуге,– сказала мать Сары. Я старался вспомнить ее фамилию – Камерон, Чендлер? – Сегодня я так спешила, ехала...– она машинально смахнула слезы, словно пыль тряпкой. «Бертрам,-подумал я.– А, вот! Бертрам».

– Да, миссис Бертрам? – сказал я.

– Я забыла взять деньги.

– К вашим услугам.

– Не одолжите ли вы мне фунт? Понимаете, мне надо пообедать в городе. У нас в Грейт Миссинден рано закрывают.

Она снова смахнула слезы, и что-то напомнило мне Сару – какая-то простота в горе, какая-то двойственность, быть может. Интересно, слишком ли часто «трогала» она Генри? Я сказал:

– Пообедаем вместе.

– Что вы, не беспокойтесь!

– Я любил Сару.

– И я.

Я пошел к Сильвии и сказал:

– Это ее мать. Я должен покормить ее. Простите. Можно" я вам позвоню?

– Конечно.

– В книжке вы есть?

– Он есть,– мрачно ответила она.

– Ну, на той неделе.

– Очень буду рада,– она протянула руку.– До свидания.

Я видел, что она знает: время упущено. Слава Богу, это еще ничего не значило – пожалеет



немного в метро, невпопад ответит своему Питеру сквозь музыку Бартока. Оборачиваясь к миссис Бертрам, я снова сказал Саре: «Видишь, я тебя люблю». Но любовь, наверное, труднее расслышать, чем ненависть.

Когда мы подходили к воротам, я заметил, что Паркие исчез. Видимо, решил, что он мне больше не нужен.

Мы с миссис Бертрам отправились в «Изола Белла». Я не хотел идти туда, где мы бывали с Сарой, а сейчас, конечно, стал сравнивать этот ресторан с теми. Ни Сара, ни я нигде не пили кьянти, теперь я пил его и об этом думал. Мог бы я заказать и наше любимое бордо, но я и так непрерывно о ней помнил. Пустота была заполнена ею.

– Мне не понравились похороны, – сказала миссис Бертрам.

– Простите?

– Они бесчеловечные. Как конвейер.

– Нет, ничего. В конце концов, помолились.

– Этот священник, он священник?

– Я его не видел.

– Он говорил, что мы сольемся в Великом Духе. Я долго не могла понять. Думала, в великом ухе. – Слезы закапали в суп. – Я чуть не засмеялась, а Генри заметил. Как же, ведь это я!

– Вы с ним не ладите?

– Он очень плохой человек, – она смахнула слезы салфеткой и яростно принялась есть, вздымая вермишель. – Как-то я заняла у него десять фунтов, забыла сумку. С каждым может случиться.

– Конечно.

– Я горжусь, что никому на свете не должна.

Речь ее походила на метро, она шла кругами и петлями. Когда я пил кофе, я стал различать узловые станции: Генри плохой, она – очень честная, она любит Сару, ей не нравятся похороны. Великий Дух – и снова Генри.

– Так было смешно, – сказала она. – Я не хотела смеяться. Никто не любил Сару, как я. – Все мы всегда это думаем и сердимся, когда говорит кто-то другой. – Но Генри этого не понять. Он очень холодный человек.

– Какие же еще могли быть похороны? – сказал я, пытаюсь перевести стрелку.

– Сара католичка, – сказала миссис Бертрам, взяла бокал вина и залпом выпила половину.

– Ерунда, – сказал я.

– Она сама не знала.

Тут я испугался, словно совершил продуманнейшее преступление и вдруг увидел трещину в своих замыслах. Глубокая она? Подвластна ли она времени?

– Ничего не понимаю!

– Она вам не говорила, что я была католичкой?

– Нет.

– Так, недолго. Понимаете, мой муж был против. Я его третья жена, и когда у нас все не ладилось, я говорила, что мы, собственно, не женаты. Он очень плохой человек, – прибавила она.

– Это вы католичка, а не Сара. Она опять хлебнула вина.

– Я никогда никому не говорила. Наверное, я напилась. Напилась я, мистер Бендрикс?

– Ну, что вы! Выпейте еще.

Пока мы ждали вино, она пыталась вернуться на другие станции, но я не дал.

– В каком смысле она католичка?

– Только не говорите Генри!

– Не скажу.

– Мы жили в Нормандии. Сара была маленькая, два года. Муж вечно ездил в Довиль. Это он так говорил, а я знала, что он ездит к первой жене. Я очень сердилась. Мы с Сарой пошли к морю. Она все хотела присесть, но я вела ее дальше. Я ей сказала: «Сара, у нас с тобой тайна». Она уже тогда умела хранить тайны... если хотела. Да, я боялась, но ведь какая месть!

– Месть? Я не совсем понимаю, миссис Бертрам.

– Ну, мужу. Это не только из-за первой жены. Я же вам говорила, да, что он не любил всего этого? Он так орал, когда я ходила к мессе! Вот я и подумала, Сара будет католичка, а он ничего не узнает, если я уж совсем не рассержусь.

– Вы не рассердились?

– Он меня через год бросил.

– Значит, вы смогли спокойно ходить к мессе?

– Ну, понимаете, я ведь не так уж верю! И потом, я вышла замуж за еврея, он тоже... Все говорят, евреи добрые. Не верьте, мистер Бендрикс. Он очень плохой человек.

– Что случилось у моря?

– Не то чтоб у моря. Мы просто пошли по берегу. Ее я оставила у дверей, сама нашла священника. Пришлось ему солгать – так, немножко. Конечно, я все свалила на мужа. Я сказала, что он обещал перед свадьбой, а потом отказался. Я плохо говорю по-французски, это очень помогло. Когда ищешь слово, получается так искренне. В общем, он все сделал, обратно мы ехали в автобусе.

– Что он сделал?

– Крестил ее.

– И все? – с облегчением спросил я.

– Ну, это таинство...

– Я уж было подумал, что Сара настоящая католичка.

– Так и есть, только она не знала. Ах, жаль, что Генри не похоронил ее как следует! – И слезы снова закапали.

– Он не виноват, ведь даже Сара не знала.

– Я все надеялась, что это привьется. Как вакцина.

– У вас что-то не очень привилось, – все-таки сказал я, но она не обиделась.

– Ах, – сказала она, – у меня было столько искушений! Наверное, к концу все уладится. Сара была со мной очень терпелива. Такая хорошая девочка... Никто так не ценил ее, как я. – Она отхлебнула вина. – Если бы я не выходила за плохих людей, если б я ее толком воспитывала, она была бы святая, вы поверьте.

– Так не привилось же, – злобно сказал я и велел подать счет. По спине у меня прошел холодок – то ли простудился, то ли испугался. «Хорошо бы, – подумал я, – простудиться насмерть, как Сара».

По дороге домой в метро я твердил: «Не привилось». Миссис Бертрам я высадил у Марилебона, одолжив ей еще три фунта, потому что «завтра среда, нельзя выйти, приходит уборщица». Бедная Сара, привилась только эта чередка мужей и отчимов. Мать успешно внушила ей, что одного мужчины на жизнь мало, а она уж сама поняла, что незачем притворяться, будто это мужья. За Генри она вышла на всю жизнь, кому ж и знать, как не мне.

Но все эти мудрые мысли ничем не были связаны с нечестным делом у моря. «Это не Ты привился, – сказал я Тому, в Кого не верил, выдуманному Богу, Который будто бы – так думала Сара – спас мне жизнь (зачем?) и разрушил, хоть Его и нет, мое единственное счастье. – Нет, не Ты, ведь тогда это просто магия, а в магию я верю еще меньше, чем в Тебя. Все магия – Твой Крест, Твое Воскресение, Твоя Святая католическая церковь, Твое общение святых».

Я лежал на спине и смотрел, как по потолку плывут тени деревьев. «Это совпадение, –

думал я, – мерзкое совпадение чуть не вернуло ее к Тебе. Нельзя отметить двухлетнего ребенка на всю жизнь, вода и молитва – не клеймо. Если я поверю в это, я поверю и в Тело, и в Кровь. Все эти годы она была не Твоя, а моя. В конце концов Ты победил, можешь не напоминать мне, но она меня с Тобой не обманывала, здесь, на этой кровати, с этой подушкой под спиной. Я входил к ней, не Ты».

Свет ушел, кругом была тьма, и мне снилось, что я хожу по ярмарке с ружьем. Я стрелял в бутылки, вроде бы – стеклянные, но пули отскакивали, словно это сталь. Стрелял и стрелял, ни одна бутылка не треснула, и в пять часов утра проснулся, думая все то же: «Все эти годы ты была со мной, не с Ним».

Я мрачно шутил, когда думал, не предложит ли мне Генри переселиться к нему. На самом деле я этого не ждал и очень удивился. Я удивился даже, что он пришел через неделю после похорон, он никогда у меня не бывал. Не думаю, что он вообще заходил дальше, чем тогда, когда я встретил его под дождем. Внизу зазвонил звонок, я выглянул – я не хотел гостей, я думал, что это Уотербери с Сильвией, – и увидел в свете фонаря его черную шляпу. Тогда я пошел вниз и открыл.

– Проходил мимо, – сказал Генри.

– Прошу.

Он неловко топтался, пока я вынимал бутылки из буфета. Потом сказал:

– Кажется, вы занимаетесь Гордоном.

– Мне заказали биографию.

– Будете писать?

– Наверное, да. Сейчас мне не до работы.

– И мне, – сказал он.

– Королевская комиссия еще заседает?

– Да.

– Значит, вам есть о чем подумать.

– Есть? Да, наверное. Пока мы не идем завтракать.

– Во всяком случае, это важная работа. Вот вам херес.

– Она совершенно никому не нужна.

Сколько же он прошел с той поры, как благополучное фото из «Тэт-лера» так разозлило меня! На столе у меня лежал, лицом вниз, портрет Сары, увеличенный моментальный снимок. Он перевернул его и сказал:

– Помню, как я ее щелкнул.

Она говорила, что снимала подруга, – видимо, щадила мои чувства. На снимке она была моложе, счастливей, но никак не прекрасней, чем в те годы, когда я знал ее. Хотел бы я, чтобы со мной она смотрела вот так, но любовник чаще видит, как горе застывает вокруг лица его любовницы, словно гипс, – такая уж у нас судьба. Генри сказал:

– Я валял дурака, чтобы она засмеялась. Интересный человек Гордон?

– Скорее да.

– Дом теперь такой странный. Я стараюсь почаще уходить. Вы не могли бы пообедать со мной в клубе?

– Работы много.

Он оглядел мою комнату и сказал:

– Вам негде разместить книги.

– Да, – сказал я. – Я их держу и под кроватью. Он взял журнал, который прислал Уотербери, чтобы показать перед нашей встречей образец своего творчества, и сказал:

– У меня место найдется. Собственно, вы можете устроиться как бы отдельно.

Я слишком удивился, чтобы ответить. Он быстро продолжал, листая страницы, словно и впрямь занят журналом:

– Подумайте. Не решайте сейчас.

– Спасибо вам. Генри.

– Вы бы оказали мне большую услугу. «А что? – думал я.– Считают, что писатель выше условностей. Неужели я что условности больше, чем чиновник?»

– Сегодня, – сказал Генри, – я видел всех нас во сне.

– Да?

– Я плохо помню. Мы вместе пили. Мы были счастливы. Когда я проснулся, я вспомнил, что она умерла.

– Я ее во сне не вижу.

– Лучше бы мы не мешали священнику.

– Но это же глупо. Она такая же католичка, как мы с вами.

– Вы верите в жизнь после смерти?

– Отдельного человека? Нет.

– Это нельзя опровергнуть.

– Ничего нельзя опровергнуть. Вот я пишу роман. Как вы докажете, что ничего такого не было? Сегодня я встретил человека о трех ногах.

– Ужас какой!

– Да, и покрыт чешуей.

– Вы шутите.

– Докажите это, Генри. Не можете – а я не могу доказать, что нет Бога. Я просто знаю, что Его нет, как вы про эти ноги.

– Непременно найдутся доводы.

– Я тоже могу их найти. Сошлюсь на Аристотеля. Генри резко сменил тему.

– Вам и дешевле будет, если вы ко мне переедете. Она всегда говорила, ваши книги не слишком раскупают.

– Нет, кое-какой успех есть, – сказал я, припомнив статью Уотер-бери. – Приходит такое время, когда критики просто ладони отбивают, даже заранее. Надо подождать.

Я говорил, потому что не решил, что делать.

– Вы ведь не обижены, правда? – сказал Генри. – Я на вас рассердился тогда, в клубе, но сейчас это неважно.

– Я ошибся. Тот человек – просто глупый болтун, ее занимали теории. Забудьте это, Генри.

– Она была добрая, Бендрикс. Вот сплетничают, а она – хорошая. Она не виновата, что я... ну, не любил ее как надо. Понимаете, я очень осторожный, скучный. Ей нужен был такой, как вы.

– Она меня бросила, Генри.

– Знаете, она меня уговорила прочитать вашу книгу. Там женщина умерла, и ее дом...

– «Честолюбивый хозяин».

– Да, да. Тогда мне понравилось, но вы все напутали, Бендрикс. Вы пишете, что муж ходит по комнатам, передвигает мебель, чтобы казалось, будто он не один. Наливает вино в два бокала.

– Забыл. Как-то уж очень литературно.

– Это неверно, Бендрикс. То-то и плохо, что дом – не пустой. Раньше, бывало, я вернусь, а ее нету, ушла – наверное, к вам. Вот тогда он был пустой. Я ведь по-своему ее любил. Не застану ее и думаю, что сейчас найду письмо: «Дорогой Генри...» Знаете, как в романе.

– Да.

– А теперь он не пустой. Не знаю, как это выразить. Ее никогда нет, но ее ведь нет нигде. Она ни с кем не завтракает, не сидит с вами в кино. Ей негде быть, кроме дома.

– Где же ее дом?

– Вы уж простите меня, Бендрикс. Я измотался, устал... сплю плохо. Нельзя говорить с ней, так поговорю хоть о ней, а кроме вас – не с кем.

– У нее масса друзей. Сэр Уильям...

– Не могу я с ним о ней говорить. Лучше уж с этим Паркисом.

– С Паркисом! – вскричал я. Что ж он, навеки пристал к нам?

– Он говорил, он у нас был в гостях. Станных людей она приглашала. Он сказал, вы с ним тоже знакомы.

– Какого черта ему от вас нужно?

– Он говорит, она сделала что-то хорошее его сыну. Бог его знает когда! Сын болеет. Кажется, Паркие хотел что-нибудь взять на память. Я дал ему ее детские книжки. Их у нее много, все исчириканы карандашом. В конце концов надо от них избавиться. Не продавать же их, правда? Вот и отдал, что тут плохого?

– Ничего. Это он за ней следил, от Сэвиджа.

– Господи, если б я знал!.. А как ее любит вроде бы...

– Он человек, не машина. И чувствительный. Я оглядел комнату. Там, у Генри, не больше Сары, чем тут, даже меньше. Там она растворяется.

– Хорошо, я перееду, – сказал я, – только разрешите платить мою часть за жилье.

– Спасибо, Бендрикс! Дом – наш собственный. Вы давайте деньги на расходы.

– Предупредите меня за три месяца, когда соберетесь жениться. Он принял это всерьез.

– Я не женюсь. Мне вообще не следовало жениться. Я причинил ей большой вред, когда женился на ней.

И я переехал на северную сторону. Генри торопил меня, как что я потерял плату за неделю и еще заплатил пять фунтов шоферу грузовика, надо же было перевезти книги и костюмы. Мне отвели комнату для гостей, под кабинет приспособили кладовую, была и ванная наверху. Генри поселился в гардеробной, а спальню с двумя холодными кроватями отвели для гостей, которых не бывало. Через день-другой я понял, почему теперь дом не пустой. Я работал в Британском музее, пока не закроют, потом работал дома, ждал Генри, мы вместе шли в «Герб» и выпивали. Как-то он уехал на конференцию, и я привел девицу. Толку не было. Я сразу понял, что ничего не выйдет, и чтобы не обижать ее, сказал, что обещал одной женщине никогда ни с кем не спать. Она все поняла, умилилась, проститутки очень почитают чувства. На этот раз я мстить не хотел, я просто опечалился, что навсегда ушло такое приятное занятие. Потом я видел во сне Сару, мы лежали там, у меня, опять ничего не вышло, но я не печалился, нам было и так хорошо.

Через несколько дней я нашел в шкафу детские книжки. Генри отдал не все. Тут были сказки Эндрю Лэнга в пестрых обложках, Беатрис Поттер, «Дети из Нового леса», «Кукла на полюсе» и книги две для подростков – «Последняя экспедиция» капитана Скотта, стихи Томаса Гуда с надписью «Саре Бертрам за успехи в алгебре». В алгебре! Как человек меняется!

В тот вечер я работать не мог. Я лежал на полу, читал, пытаюсь заполнить хоть какие-то пробелы в ее жизни. Иногда любовнику надо стать и отцом, и братом – он ревнует к тем годам, когда его не было. «Кукла на полюсе», наверное, была первой ее книгой – Сара исчирикала все, бестолково, бессмысленно, цветными мелками. В одной из книжек Беатрис Поттер она написала карандашом: «САЧА», а на «Детях из Нового леса», – аккуратно и мелко: «Это книга Сары Бертрам. Кто возьмет ее без спросу, тот останется без носу». Были и обычные следы, которые есть на всех детских книгах, – анонимные, как птичьи следы на снегу. Когда я закрывал книжку, они исчезали, их уносило время.

Не думаю, чтобы она читала Гуда, страницы были чистые, как тогда, когда учительница или попечитель вручали ей награду. Я уже клал книгу в шкаф, и тут из нее выпал листок – может быть, программа школьного вечера. Почерк я узнал (он устанавливается рано, потом усложняется от времени и от усталости) и прочитал: «Ну и чушь!» Я представил себе, как Сара пишет это соседке, пока учительница идет на место, а родители почтительно хлопают, и, увидев эти уверенные, нетерпеливые, наивные слова, вспомнил другие: «Я потаскуха и врунья». Передо мной была невинность. Как жаль, что целых двадцать лет ушли только на то, чтобы Сара подумала о себе это! Потаскуха и врунья. Неужели я так говорил о ней со злости? Она запоминала мою хулу, это хвала таяла, словно снег.

Я вертел листок, читал, что было 23 июля 1926 года. Мисс Дункан из Королевского музыкального колледжа играла «Музыку на воде» Генделя. Беатрис Коллинз читала «Я брел одинокий, как туча», школьный хор пел старинные арии, Мэри Пиппит играла на скрипке вальс Шопена. Долгий летний день двадцатилетней давности пришел сюда, ко мне, и я ненавидел жизнь, которая меняет нас к худшему. «В то лето, – думал я, – я как раз начал первую книгу. Я так волновался, так надеялся, когда сел писать, я был счастлив». Сунув листок в нечитаную книгу, я положил, ее в глубь шкафа, под «Куклу» и Беатрис Поттер. Оба мы были счастливы, нас разделяли только десять лет и несколько графств, а потом встретились зачем-то и вконец измучили друг друга. Я взял «Последнюю экспедицию».

Эту книгу я любил. Теперь казалось, что устарели и героическая борьба со льдами, и жертва, обрекающая на смерть лишь тебя самого. Две войны стояли между нами. Я посмотрел фотографии – бороды, очки, британский флаг, небольшие сугробы, пони с длинными гривами вроде старомодной прически. Даже смерть была «того времени», смерть – и школьница, испещрившая страницы восклицательными знаками. На последнем письме Скотта она написала четкими буквами:

"А что потом, ужели Бог?

Роберт Браунинг".

«Тогда уже, – подумал я, – она думала о Нем. Он пользовался настроением, как соблазнитель, сулящий невыполнимое». Я положил обратно последнюю книгу и запер шкаф на ключ.

– Где вы были. Генри? – спросил я. Обычно он спускался к завтраку первым, иногда уходил, когда я еще не вышел, а в это утро его тарелка стояла нетронутой, и я услышал, как хлопнула дверь, прежде чем он вошел.

– Так, гулял, – туманно ответил он.

– Всю ночь? – спросил я, и, чтобы оправдаться, он сказал мне правду:

– Ну, что вы! Отец Кромптон служил сегодня заупокойную мессу.

– Он еще служит?

– Раз в месяц. Я решил зайти, из вежливости.

– Вряд ли он знал, что вы там.

– Я подошел, поблагодарил. Собственно, я пригласил его к обеду.

– Тогда я уйду.

– Не надо, Бендрикс! В конце концов, он тоже был другом Сары.

– Вы не обратились ли?

– Конечно, нет. Но они имеют такое же право на свои взгляды, как мы с вами.

Итак, он пришел обедать. Этот уродливый, неуклюжий человек с носом Торквемады увел у меня Сару. Он поддержал дурацкий обет, который надо было забыть через неделю. В его церковь шла она под дождем, искала убежища – нашла смерть. Меня не хватило даже на вежливость, Генри пришлось все тащить одному. Отец Кромптон не привык обедать в гостях.

Так и казалось, что это тяжкий долг. Болтать он не умел, ответы его падали, словно деревья на дорогу.

– У вас тут много бедных? – спросил усталый Генри, уже за сыром. Он перепробовал много тем – книги, кино, недавнюю поездку во Францию, будет ли война.

– Не в том суть, – ответил священник. Генри не сдался.

– Падает нравственность? – спросил он с той легкой фальшью, без которой не произнесешь таких слов.

– Это вообще не проблема, – сказал отец Кромптон.

– Я думал... знаете, иногда видишь вечером...

– Так бывает в каждом сквере. И потом, сейчас зима. Тема на этом кончилась.

– Еще сыру, отец?

– Нет, спасибо.

– Наверное, в нашем районе трудно собрать деньги для бедных?

– Дают, что могут.

– Налить вам бренди в кофе?

– Нет, спасибо.

– Вы не против, если мы...

– Нет, не против. Я просто потом не заснул бы, а мне вставать в шесть часов.

– Зачем?

– Молиться. К этому привыкаешь.

– Боюсь, – сказал Генри, – я толком и не молился с самого детства. Когда-то я просил, чтобы Бог помог мне попасть в первую десятку.

– Попали вы?

– Попал во вторую. Наверное, такие молитвы не считаются?

– Всякая молитва лучше, чем ничего. Вы признаете Божью силу, а это своего рода хвала.

Впервые за весь обед он произнес столь длинную речь.

– Я бы сказал, – вмешался я, – что это магия. Вроде того, как трогают дерево или не ступают на какие-то плиты тротуара. В детстве, по крайней мере.

– Ну, немножко суеверия не повредит, – сказал он. – Люди хоть понимают, что этот мир – еще не все. Бывает началом премудрости.

– Да, ваша церковь любит суеверия. Святой Януарий, кровь, видения...

– Мы пытаемся различать их. И потом, не разумней ли думать, что все может случиться?

Зазвонил звонок. Генри сказал:

– Я отпустил служанку спать. Разрешите, отец?

– Лучше я открою, – сказал я. Я был рад избавиться от этого тяжелого человека. На все у него есть ответ, любителю его не подловить, он словно фокусник, который раздражает самой сноровкой. Я открыл дверь и увидел толстую женщину в черном, с пакетом в руках. Сперва я подумал, что это наша уборщица, но она сказала:

– Вы мистер Бендрикс, сэр?

– Да.

– Вот это вам. – И она быстро сунула мне пакет, как будто он мог взорваться.

– От кого вы?

– От мистера Паркиса.

Я растерянно вертел пакет. Мне пришло в голову, что это какие-то улики, которые Паркие запоздало прислал мне. Я хотел о нем забыть.

– Вы не дадите расписку, сэр? Он сказал, в собственные руки.

– Карандаша нет. И бумаги. Вообще, я занят.

– Вы знаете, какой он аккуратный, сэр. Карандаш у меня есть. Я написал расписку на старом конверте. Она ее бережно положила в сумку и поспешила к калитке, я держал пакет. Генри крикнул из столовой:

– Что там, Бендрикс?

– Пакет от Паркиса, – сказал я. Это звучало как скороговорка.

– Наверное, книгу вернул.

– В такое время? И потом, это мне.

– Что же такое тогда?

Я не хотел открывать пакет, ведь мы оба с таким трудом ее забывали. Мне казалось, что я достаточно наказан за мистера Сэвиджа. Голос отца Кромптона говорил:

– Мне пора, мистер Майлз.

– Еще рано.

Я подумал, что если я туда не пойду, нарушу правила вежливости, он скорее удалится. И я открыл пакет.

Генри оказался прав. Это были сказки Эндрю Лэнга, но в книге торчала сложенная записка, письмо от Паркиса.

«Дорогой мистер Бендрикс, – прочитал я, подумал, что он благодарит меня, и нетерпеливо взглянул в конец. – ...При таких обстоятельствах я бы не хотел ее держать. Надеюсь, Вы скажете м-ру Майлзу, что это – не от неблагодарности. Искренне Ваш Альфред Паркие».

Я сел. Я услышал голос Генри: «Не думайте, отец, что у меня узкие взгляды...» – и начал читать сначала:

"Дорогой мистер Бендрикс, я пишу Вам, а не мистери Майлзу, потому что уверен в Вашем сочувствии, т. к. мы связаны тесными, хотя и прискорбными узами и Вы, человек с воображением, как все писатели, привыкли к странным происшествиям. Как Вы знаете, мой сын страдал в последнее время острыми болями, и, поскольку это не вызвано мороженым, я опасался аппендицита. Доктор сказал, что нужна операция, она неопасная, но я очень их боюсь, т. к. моя жена умерла под ножом, я уверен, что из-за небрежности, и что же я буду делать, если потеряю сына? Я тогда останусь совсем один. Простите за подробности, мистер Бендрикс, в нашем деле мы приучены излагать по порядку, чтобы судья не сказал, что ему не представили ясно фактов. Так вот, я сказал в понедельник доктору: подождем, пока не будем уверены. Я думаю, это от холода, он простыл, когда ждал у дома миссис Майлз, и Вы уж меня извините, я скажу, она очень хорошая женщина, надо было оставить ее в покое. В нашем деле не выбирают, но я с первого дня хотел, чтобы это была какая-нибудь другая особа. Мальчик очень расстроился, когда узнал, как она умерла. Она говорила с ним один раз, но ему показалось, что его мать на нее похожа. Это не так, хотя моя жена тоже очень хорошая женщина, и я каждый день по ней тоскую. Когда у него была температура 103 [По Фаренгейту – около 39,4° по Цельсию], а это для мальчика много, он стал разговаривать с миссис Майлз, как тогда на улице, и сказал, что он за ней следил, хотя говорить это нельзя даже в его возрасте – у каждого дела своя гордость. Потом он стал плакать, что она ушла, а потом заснул, а проснулся тоже с температурой и попросил подарок, который она обещала ему во сне. Вот почему я побеспокоил мистера Майлза и обманул его. Мне очень стыдно, это ведь я не по делу, только из-за мальчика.

Когда я получил книжку и дал ему, он стал поспокойней. Но я беспокоился, потому что доктор сказал, рисковать больше нельзя, в среду поедем в больницу, а если есть свободная койка, так сегодня. Значит, я не спал, тосковал по моей бедной жене, беспокоился за мальчика. Не постесняюсь сказать Вам, мистер Бендрикс, что я очень молился. Я просил Бога, а потом я просил жену что-нибудь сделать. Если на небе кто-нибудь есть, она-то уж там, и еще я попросил миссис Майлз. Если взрослый мужчина способен на такое, не надо удивляться, что



мальчику всякое видится. Когда я утром проснулся, температура была 99, живот не болел, так что доктор пришел и сказал, что подождать можно. Мальчик сказал ему, что боль забрала миссис Майлз, тронула правую сторону живота, Вы уж простите за нескромность, и написала ему книжку. А доктор сказал, его нельзя беспокоить, книжка его нервирует. При таких обстоятельствах я бы не хотел ее держать..."

Я перевернул листок, там был постскриптум: «На книжке что-то написано, но это, конечно, очень давно, когда м-с Майлз была маленькая, только я не могу ему объяснить, а то боли вернутся. Ваш А. П.». Я посмотрел на первую страницу. Карандашом были выведены шаткие буквы, как в других книгах, где маленькая Сара Бертрам записывала свои поучительные стишки:

Я была больная, получила эту книгу.  
Если украдешь, тогда получишь фигу,  
А вот если заболел,  
Прочитай и будешь цел.

Я пошел в столовую с книгой в руке.

– Что там? – спросил Генри.

– Книга, – сказал я. – Вы читали, что там написано?

– Нет, а что?

– Так, совпадение. Кажется, суеверным можно быть и без католичества.

Я дал ему письмо; он прочитал его и вручил священнику.

– Не нравится мне это, – сказал Генри. – Сара умерла. Я не хочу, чтобы о ней болтали.

– И я тоже.

– Это вроде сплетен.

– Никто не сказал о ней ничего плохого, – вмешался отец Кромптон, кладя на стол письмо. –

Ну, я пойду.

Но не двинулся, все глядел на письмо.

– Какая там надпись? – спросил он. Я толкнул к нему книгу и сказал:

– А, это давно написано! У нее такие надписи во всех книгах.

– Время – странная штука, – сказал отец Кромптон.

– Конечно, мальчику не понять, что она не сейчас написала.

– Святой Августин спрашивал, откуда берется время. Он решил, что оно идет из будущего, которого еще нет, в прошлое, которого уже нет, через настоящее, у которого нет длительности. Не думаю, что мы понимаем время лучше, чем ребенок.

– Я не имел в виду... Он встал.

– Не расстраивайтесь, мистер Майлз, – сказал он. – Это показывает только, какая хорошая женщина ваша жена.

– Что мне с того? – сказал Генри. – Она в прошлом, ее уже нет.

– Человек, который писал письмо, очень разумен. Совсем неглупо молиться мертвым, а не только о них. – И он сказал снова: – Она была очень хорошая женщина.

Тут я не выдержал. Наверное, меня довело его благодушие – я чувствовал, что его не проймешь никаким доводом. Он, видите ли, так хорошо понял ту, кого и знал-то несколько часов, ну – дней, а мы знали годами. И я сказал:

– Ничего подобного.

– Бендрикс! – крикнул Генри.

– Она могла провести любого мужчину, – говорил я, – даже священника. Она вас обманула, как мужа, как меня. Она всегда врала.

– Она не притворялась.

– У нее были другие любовники, не только я...

– Вы не имеете права, – резко сказал Генри.

– Оставьте его, – сказал отец Кромптон. – Не трогайте его, несчастного.

– Мне не нужна профессиональная жалость. Приберегите ее для своих кающихся.

– Не вам приказывать, кого мне жалеть, мистер Бендрикс.

– Каждый мог с ней спать.

– И не вам говорить о покаянии. Я двадцать пять лет исповедую. Мы не можем сделать ничего, чего бы не сделали святые до нас.

– Мне не в чем каяться, кроме неудачи. Идите к своим свечкам, к своим четкам, в свою мерзкую будочку.

– Вы найдете меня там, когда хотите.

– Это я захочу? Не люблю грубить, но я вам не Сара. Не Са-ра.

Генри сказал:

– Простите, отец.

– Ничего. Я видел страдающих. Никак я не мог пробить броню его благодушия. Отодвинув стул, я ответил:

– Нет, отец. Я не страдаю. Я ненавижу. Я ненавижу ее, потому что она потаскушка, и его, потому что она в него вцепилась, и вас с вашим Богом, потому что вы ее у нас забрали.

– Вы умеете ненавидеть, – сказал отец Кромптон. Я чуть не плакал, я никак не мог причинить им боль.

– А ну вас к черту! – сказал я и хлопнул дверью, пускай сидят. «Пускай учит Генри своей премудрости, – думал я. – Если я не с тобой, я буду один. Всегда. Да могу я во все это поверить! Закрою глаза, посижу и поверю, что ты пришла ночью к этому мальчику, коснулась его, спасла. Я тоже просил тебя спасти от меня эту девицу, и ты мне тут же подсунула твою мамашу, так бы они сказали. Но если я поверю в это, я поверю в твоего Бога. Я должен буду Его любить. Лучше уж любить тех, с кем ты спала».

«Надо быть разумней, – думал я, поднимаясь по лестнице. – Сара умерла, мертвых не любят так, как живых, а она – не жива, ее нет. Я не должен верить, что она жива». Я лег, закрыл глаза, попытался быть разумным. Если я и сейчас ненавижу, могу ли я ее любить? Можно ли любить и ненавидеть сразу? Или я себя ненавижу? Книжки, которые я так ловко пишу, писательскую хватку, которая велела мне соблазнить женщину, чтобы собрать материал. Тело, которое так много наслаждалось, но не могло выразить того, что было в сердце, и недоверчивую душу, которая послала Паркиса, чтобы он присыпал пудрой звонки, рылся в корзинах, крал наши тайны.

Я вынул из ночного столика ее дневник, открыл наугад и прочитал:

«Господи, если бы я могла Тебя ненавидеть, что бы это значило?» И я подумал: «Ненависть к Саре – это любовь к ней, ненависть к себе – тоже любовь». Я не стою ненависти – я, Морис Бендрикс, автор «Честолюбивого хозяина», «Увенчанного облика», «Могилы на берегу». Бендрикс-писака. Если Ты есть, думал я, никто кроме Тебя, даже Сара, не стоит ненависти. «Иногда я ненавидела Мориса, но я бы и ненавидеть не могла, если бы я его не любила. Господи, если бы я могла Тебя ненавидеть!...»

Я вспомнил, как Сара молилась Тому, в Кого не верила, и заговорил с той, в кого не верил. Я сказал: «Ты принесла в жертву нас обоих, чтобы я не умер, но разве это жизнь без тебя? Хорошо тебе любить Бога. Ты умерла. Ты с ним. А я болен жизнью, страдаю здоровьем. Если я

Его полюблю, я не могу тут же умереть. Мне придется что-то делать. Я трогал тебя, целовал – когда любишь, что-то делаешь. Незачем говорить, чтобы я не страдал, как тогда, во сне. Если я вот так полюблю, всему конец. Когда я любил тебя, я не хотел есть, не глядел на женщин, а полюблю Его – все будет пусто без Него. Я даже работать не смогу, больше не буду Бендриксом. Сара, я боюсь!»

Проснулся я в два часа ночи, спустился в кладовку, взял печенья, выпил воды. Мне было стыдно, что я так говорил о ней при Генри. Священник сказал, что мы не можем сделать ничего, чего уже не делали святые. Быть может, это так, если речь идет о блуде и убийстве, это грехи яркие, крупные, а может святой завидовать, делать подлости? Ненависть моя была мелкой, как моя любовь. Я тихо открыл дверь и посмотрел на Генри. Он спал, не выключив света, прикрыв рукой глаза. Когда не видно глаз, не узнаешь человека. Да, он был просто человек, один из нас, словно первый враг, которого солдат встречает на поле боя, – мертвый, неизвестный, не белый и не красный, а человек, такой же, как он. Я положил у кровати два печенья на случай, если он проснется, и выключил свет.

Книга не ладилась (я понимал, что только трачу время, но куда же его девать?), и я пошел прогуляться, послушать наших ораторов. Один из них развлекал меня в давние дни, и я обрадовался, что он опять на месте. У него не было ни политической, ни религиозной миссии – он, бывший актер, просто читал стихи, играл сценки. Слушателям он предлагал назвать что угодно, кто-то кричал, скажем: «Старый Мореход», – и он тут же с выражением читал четыре строки. Какой-то шутник сказал: «Тридцать второй сонет Шекспира», – он прочитал четыре строки, тот стал спорить, а он ответил: «У вас плохое издание». Оглядев тех, кто слушал, я увидел Смитта. Может быть, он меня первый увидел, потому что стоял ко мне чистой щекой – той, которую она не целовала; но взгляда моего избегал. Почему я вечно лез к тем, кто знал ее? Я протиснулся к нему и сказал:

– Здравствуйте, Смитт.

Он прижал платок к больной щеке и обернулся ко мне.

– А, мистер Бендрикс! – сказал он.

– Не видел вас с похорон.

– Я уезжал.

– Вы тут не выступаете?

– Нет, – и он прибавил не сразу: – Я это бросил.

– А дома учите? – не отставал я.

– Нет. И это бросил.

– Надеюсь, не изменили взглядов?

– Я не знаю, – мрачно ответил он. – Не знаю, во что верить.

– Ни во что. Ведь вы этому и учили.

– Учил.

Он стал выбираться из толпы, и я оказался с другой стороны. Уняться я не мог.

– Болят зубы?

– Нет. А что?

– Платок прижали...

Он не ответил, просто убрал платок. Скрывать было нечего. Ничего не осталось, кроме маленького пятнышка. Он сказал:

– Устал объяснять.

– Вылечились?

– Да. Я же говорил, я уезжал из города.

– В больницу?

– Да.

– Удалили?

– Не совсем, – сказал он с неохотой.

– Исцеление верой?

– Я не верю. Я никогда не пошел бы к знахарю.

– Что ж это?

Он неопределенно ответил:

– Новый метод. Электричество.

Я пошел домой и сел за книгу. Какой-нибудь один персонаж всегда не удается мне. Все вроде верно, но что-то не ладится, его надо тащить и толкать, искать для него слова – все мастерство, которое я обрел за годы труда, едва помогает ему казаться мало-мальски живым. Иногда я печально радуюсь, если критик скажет, что он прекрасно выписан, – не выписывал бы я, он бы вообще исчез. Такой персонаж мучает меня, как непереваренный обед. Мне противно писать сцены, где он участвует. Он не удивляет меня, не делает ничего неожиданного. Все персонажи помогают, он – мешает.

И все же без него не обойтись. Я могу представить, что Бог именно так относится к некоторым из нас. Святые, те сами себя творят, вот они и живые. Они могут удивить делом или словом, они – вне сюжета, от него не зависят. А нас надо тащить. Мы упираемся, ибо нас нет, мы прикованы к сюжету, Бог еле-еле втаскивает нас в Свою сеть, мы скучны, у нас нет свободной воли, и польза от нас лишь та, что где-то, когда-то мы помогаем в сцене, в которой движется и говорит живой. Быть может, мы помогаем святым проявить свою, свободную волю.

Услышав стук двери и шаги, я обрадовался. Значит, можно прервать работу. Персонаж не оживет до утра, сейчас пора идти в бар. Я подождал, пока Генри меня крикнет (мы сжились за месяц, как два холостяка, которые годами не разлучались), но он не звал, он пошел в кабинет. Я подождал и тоже пошел туда, мне хотелось выпить.

Входя в кабинет, я вспомнил, как был у него тогда, в первый раз. Он опять сидел рядом с «Дискоболом», усталый и печальный, но я не позавидовал ему и не обрадовался.

– Выпьем, Генри?

– Да-да. Конечно. Я просто хотел переобуться.

У него были ботинки для города и для загорода, а тут, по его понятиям, был загород. Сейчас он не мог развязать узелок, у него вообще неловкие пальцы. Устав от борьбы, он скинул ботинок. Я его подобрал и распугал шнурок.

– Спасибо, Бендрикс, – видимо, даже такая простая услуга тронула его. – У нас там случилась очень неприятная вещь.

– Да?

– Заходила миссис Бертрам. Вы ее не знаете. – Знаю. Встречал.

– Мы с ней не ладили.

– Да, она говорила.

– Сара понимала. Она ее почти не звала.

– Что, хочет денег занять?

Да. Десять фунтов, вечная история – приехала на один день, банки закрыты, то-се... Бендрикс, я не злой человек, но она меня очень раздражает. У нее две тысячи в год. Я ненамного больше получаю.

– Дали вы?

Конечно. Я всегда даю. Плохо то, что я не удержался, сказал кое-что. Она взбесилась. Я сказал, сколько раз она брала деньги, сколько – отдавала. Это еще бы ничего, она вынула чековую книжку, хотела расплатиться за все сразу. Но она забыла, что чеки истрачены. Думала

унизить меня, а унизила себя, бедняга. Вышло еще хуже.

– Что же она сделала?

Обвинила меня в том, что я не так похоронил Сару. Рассказала какую-то дикую историю.

– Знаю. Она и мне рассказала, когда выпила.

– Вы думаете, она лжет?

– Нет, не думаю.

– Какое странное совпадение, правда? Крестили в два года, тут и вспомнить нельзя, а вернулось... Вроде инфекции.

– Вы сами сказали, это совпадение.

Когда-то я придал ему силы, нельзя же, чтобы он сейчас ослабел.

– Я и не такие встречал. За прошлый год я так устал, Генри, что собираю номера машин. Вот и смотрите. Десять тысяч номеров, кто его знает, сколько из них комбинаций, а я очень часто видел рядом одинаковые номера.

– Да, наверное, тут то же самое.

– Я верю в совпадения. Генри.

Наверху тихо звонил телефон. До сих пор мы его не слышали, потому что здесь, внизу, звонок был выключен.

– О Господи, – сказал Генри. – Наверное, опять она.

– Пускай звонит. – И тут звонок замолчал.

– Я не злой, – сказал Генри. – Она взяла за десять лет не больше ста фунтов.

– Пойдем выпьем.

– Да-да. А, я не обулся!

Он стал обуваться, и я увидел лысину, словно заботы ее проели. Сам я – тоже из 31 их забот. Он сказал:

– Не знаю, что бы я без вас делал.

Я стряхнул с его плеча перхоть, сказал:

– Ну что вы, Генри! – И телефон опять зазвонил.

– Ладно, – сказал я.

– Нет, я подойду. Кто его знает... Он встал, не зашнуровав ботинки. – Алло! Майлз у телефона. – Он передал мне трубку. – Это вас.

– Да, – сказал я, – слушаю.

– Мистер Бендрикс, – произнес мужской голос. – Я решил вам позволить. Я тогда солгал.

– Кто это?

– Смитт.

– Ничего не пойму.

– Я сказал, что был в больнице. Нет, не был.

– Какое мне, собственно, дело...

– Очень большое. Вы не слушаете! Никто не лечил меня. Все прошло само, сразу, за ночь.

– Что? Не понимаю...

Он сказал мерзким голосом сообщника:

– Мы с вами знаем. Ничего не поделаешь. Я не должен был лгать. Это... – но я бросил трубку прежде, чем он произнес дурацкое, газетное слово, которым заменяют «совпадение». Я вспомнил сжатую руку, вспомнил, как злился, что мертвых растаскивают по частям, делят, словно одежду. Он такой гордый, что ему непременно нужны откровения. Через неделю-другую будет тут выступать, показывать щеку. В газетах напишут:

«Чудесное исцеление оратора-атеиста». Я попытался собрать воедино всю свою веру в совпадения, но смог представить, и то с завистью – у меня ведь реликвии не было, только

больную щеку, прижавшуюся к волосам.

– Кто там? – спросил Генри. Я подумал, рассказать ли, и решил, что ненадо. Еще передаст Кромптону.

– Смитт, – сказал я.

– Смитт?

– Ну, этот, к которому она ходила. Чего он хочет?

– Щеку вылечил. Я просил, чтобы он мне назвал врача. Один мой друг...

– Электричество?

– Не думаю. Я где-то читал, что бывает истерическая крапивница. Психотерапия, радий...

Звучало неплохо. Может быть, я сказал правду. Совпадение, две машины с одинаковыми номерами, и я устало подумал: «Сколько ж их еще будет? Мать на похоронах, сын Паркиса. Кончится это когда-нибудь?» Я был как пловец, переоценивший свои силы. Он знает, что волна сильнее его. Что ж, если я утону, я буду держать Генри. В конце концов, это мой долг – если все попадет в газеты, кто знает, чем кончится? Я вспомнил манчестерские розы, обман не скоро разоблачили. Люди так склонны к истерике. Будут ходить, молиться, гоняться за реликвиями. Генри – известный человек, скандал получится страшный. Журналисты полезут с вопросами, вынюхают эту чушь с крещением. Благочестивая пресса так вульгарна. Я представил себе заголовки. Еще чудес навьдумывают. Нет, надо убить это на корню.

Я вспомнил дневник и подумал: «Нельзя его оставлять, неверно поймут». Чтобы сбереечь ее для себя, мы должны разрушать все, что с ней связано. Детские книги и те опасны. И фотографии, нельзя их давать в газеты. Как служанка, надежна? Вот попытались создать игрушечный домик, а и тот под угрозой.

– Пойдем в бар? – спросил Генри.

– Сейчас, минутку.

Я пошел наверх и вынул дневник. Сорвал переплет – он не поддавался, вылезали какие-то нити, все было так, словно я отрывал лапки птице, – и вот дневник лежал на кровати, бескрылый и раненый, кипа бумаги. Последняя страница была сверху, я прочитал: «Когда я прошу боли. Ты даешь мир. Дай и ему. Дай ему, заberi от меня, ему нужнее!»

«Вот тут у тебя не вышло, – думал я. – Одна твоя молитва осталась без ответа. Нет у меня мира, и любви нет, только ты, только ты, – говорил я ей. – Я умею лишь ненавидеть». Но ненависти не ощущал. Я называл других истеричными, а сейчас сам впал в истерику. Я чувствовал, как фальшивы мои слова. Ведь на самом деле я не столько ненавидел, сколько боялся. «Если Бог есть, – думал я, – если даже ты, со всей твоей несмелой ложью, со всем распутством, можешь так измениться, все мы станем святыми, стоит нам прыгнуть, как ты прыгнула, закрыв глаза, навсегда, сразу. Если ты святая, быть святым нетрудно. Этого Он может потребовать от каждого из нас. Чтобы мы прыгнули. А я не хочу». Я сидел на постели и говорил Ему: «Ты ее забрал, но я еще не Твой. Я Тебя знаю; Ты хитер. Это Ты ведешь нас на высокое место и показываешь все царства. Ты – Сатана, Ты искушаешь, чтобы мы прыгнули. А я не хочу ни мира Твоего, ни любви. Я хотел очень легкого, очень простого – Сару на всю жизнь, а Ты ее отнял. У Тебя великие замыслы, и Ты разрушаешь наше счастье, как разрушает жнец мышиную норку. Я ненавижу Тебя, Господи, я ненавижу Тебя, словно Ты есть».

Я посмотрел на кипу бумаги, ничью, как клочок волос. Нет, хуже. Волос можно коснуться, поцеловать их. Я страшно устал. Я жил ради ее тела, я желал его, а у меня остался только дневник. И я запер его в шкаф, ведь Он опять победит, если я его уничтожу и останусь совсем без нее. «Хорошо, – сказал я ей, – будь по-твоему. Я верю, что ты жива, ты есть и Он есть, но твоих молитв не хватит, чтобы я полюбил Его. Он обокрал меня, вот и я, как этот твой король, украду у Него то, что Ему во мне нужно. Ненависть – у меня в мозгу, а не в желудке, не на коже.

Ее не устранишь, это не боль, пятна на щеке. Разве я не ненавижу тебя? Разве я себя не ненавижу?»

Я крикнул Генри:

– Иду! – и мы пошли рядом в «Герб Понтефрактов». Фонари не горели, влюбленные были там, где пересекались дорожки, а на другой стороне стоял дом с разбитыми ступеньками, где Он вернул мне бесполезную, жалкую жизнь.

– Я думаю днем, как мы будем с вами гулять, – сказал Генри.

– Да.

«Утром, – думал я, позвоню врачу, спрошу, возможно ли исцеление». А потом: «Нет, не буду. Пока не знаешь, можно придумать многое...» Я положил руку Генри на рукав – поддержал его, я должен быть сильным за нас двоих, а он еще не понял своего горя.

– Я только этих прогулок и жду, – сказал он.

В начале я писал, что это книга о ненависти, и, направляясь рядом с Генри к вечернему нашему пиву, я нашел слова, которые, кажется, отвечали этому зимнему духу: «Господи, Ты сделал достаточно, Ты много отнял от меня, я слишком устал, слишком стар, чтобы учиться любви, оставь же меня в покое!»